АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

БАБИЙ ЯР

Анатолий Васильевич Кузнецов
Бабий Яр

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=140566
Бабий Яр: / Анатолий Кузнецов.: ПОСЕВ; Москва:; 2014
ISBN 978-5-17-086415-7

Аннотация

Эта книга – полная авторская версия знаменитого документального романа “Бабий Яр” об уничтожении еврейского населения Киева осенью 1941 года. Анатолий Кузнецов, тогда подросток, сам был свидетелем расстрелов киевских евреев, много общался с людьми, пережившими катастрофу, собирал воспоминания других современников и очевидцев. Впервые его роман был опубликован в журнале “Юность” в 1966 году, и даже тогда, несмотря на многочисленные и грубые цензурные сокращения, произвел эффект разорвавшейся бомбы – так до Кузнецова про Холокост не осмеливался писать никто. Однако путь подлинной истории Бабьего Яра к читателю оказался долгим и трудным. В 1969 году Анатолий Кузнецов тайно вывез полную версию романа в Англию, где попросил политического убежища. Через год “Бабий Яр” был опубликован на Западе в авторской редакции, однако российский читатель смог познакомиться с текстом без купюр лишь после перестройки.

Содержание

Алексей Кузнецов. “Я дошел до такой точки, после которой я уже не мог работать” 4
Бабий яр 9
К читателям 9
Вступительная глава 14
Первая часть 17
Советская власть кончилась 17
Грабить чертовски интересно, но нужно уметь 22
Итак, мы в этой новой жизни 24
От автора 36
К вопросу о рае на земле 38
Крещатик 43
Приказ 49
Бабий яр 54
Глава воспоминаний 64
1. Людоеды 64
2. Кто принес елочку? 65
3. Горели книги 66
4. Пионерия 69
5. Если завтра война 70
6. Бей жида-политрука 71
7. Второй Царицын? 72
8. Болик пришел 74
Глава подлинных документов 76
По немецкому времени 79
Конец ознакомительного фрагмента. 80

Анатолий Кузнецов
Бабий яр

Алексей Кузнецов. “Я дошел до такой точки, после которой я уже не мог работать”

Это слова моего отца, писателя Анатолия Васильевича Кузнецова, произнесенные им в августе 1969 года в эфире “Радио Свобода”. Сегодня они слышатся мне лишь слабым отголоском тех событий, которые разом перевернули его и мою жизнь, разделив ее на “до” и “после” его эмиграции в августе 1969 года.

В конце 60-х Анатолий Кузнецов считался в СССР одним из самых ярких, талантливых и прогрессивных литераторов, одним из “отцов-основателей” так называемой “исповедальной прозы”. Его роман-документ “Бабий Яр” стал едва ли не самым крупным событием в советской литературе того времени. В основу романа легли записи, которые в детстве будущий писатель вел тайком от всех, стараясь запомнить все, что происходило с ним в оккупированном Киеве. Его рассказ “Артист миманса”, опубликованный в 1968 году в “Новом мире”, сравнивали с гоголевской “Шинелью” и “Бедными людьми” Достоевского. Его книги выходили огромными тиражами, переводились на множество языков, по ним ставили спектакли и снимали фильмы.

И вдруг: “Я дошел до точки…” И вдруг – отчаянное, авантюрное бегство, клеймо “невозвращенца”, глухое раздражение и показное непонимание коллег по писательскому цеху, шепот в коридорах Центрального Дома литераторов: “Ну чего ему не хватало?..”

А затем – практически полное забвение, искоренение из истории, вытаптывание памяти о нем. Тогда казалось – навеки.

Но вот пришли 80-е годы, грянула перестройка, и постепенно в литературный обиход стали возвращаться запрещенные имена: Солженицын, Галич, Бродский, Некрасов, Аксенов, Войнович, Гладилин, Владимов… всех не перечесть.

А вот Анатолия Кузнецова словно бы и не было. Его имя так и оставалось скрытым неким странным флером молчания – в том числе и среди прогрессивной “перестроечной” общественности.

В 1989 году молчанием обошли его 60-летие. В 1991-м, когда отмечалось 50-летие страшных событий в Бабьем Яре, мне удалось провести два творческих вечера памяти отца. И если в Киеве, на его и моей родине, вечер прошел с огромным вниманием прессы и общественности, то в Москве, в ЦДЛ едва набралось ползала тех, кому была интересна эта фамилия. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить тех, кто тогда пришел и помог мне вспомнить Анатолия Кузнецова – Олега Табакова, Владимира Лазарева, Марию Озерову, Игоря Минутко, Юлиана Панича. А многие – не пришли.

Тогда же, в 1991-м, “Бабий Яр” впервые был издан в СССР в полном виде – не в том, изуродованном советской цензурой в середине 60-х, а таким, каким хотел видеть его отец, каким он издал его в 1970 году на Западе. И вновь – тишина в прессе, словно и не было 100-тысячного тиража в “Советском писателе”. Да и сейчас интерес к творчеству отца заметен скорее на Украине. В 2008 году там был впервые в истории опубликован перевод “Бабьего Яра” на украинский язык, который я сделал лет за десять до этого – и долгое время не мог его издать, потому что в украинской культуре “не было интереса”, как говорили в разных издательствах. В 2009 году в Киеве на Куреневке будет поставлен памятник отцу работы талантливого скульптора Владимира Журавеля. В Музее Великой Отечественной

войны будет отмечаться его 80-летие. В России же широкого интереса к творчеству и личности Анатолия Кузнецова по-прежнему, на мой взгляд, нет.

Этот странный “заговор молчания”, конечно, не был таким уж “непробиваемым”. В нескольких журналах вышли воспоминания о нем, опубликованы некоторые его письма. На “Радио Свобода”, где я имею честь работать, я делал несколько программ, посвященных его памяти. Но по-настоящему частью литературного процесса и литературной истории страны творчество Анатолия Кузнецова еще назвать сложно.

В чем же причина этой непонятной на первый взгляд тенденции?

Мне представляется, таких причин три. По-человечески они вполне объяснимы.

Во-первых, совершенно очевидно, что Анатолий Кузнецов стал невольной жертвой своей творческой манеры – а именно “исповедальности”. Предельная откровенность, честность не только перед самим собой, но и перед читателями, разумеется, в советское время никак не приветствовалась. Ни одна из его книг – ни одна! – не дошла в СССР до читателя в том виде, в каком она была задумана и написана. Это, конечно, не было единичным явлением – в таких условиях жили и работали все советские писатели. Но кто-то вполне комфортно уживался с этим, принимая цензуру как неизбежное зло, кто-то уходил в переводы, в так называемую “внутреннюю эмиграцию”, лишаясь при этом возможности публиковать свои произведения. А кто-то – и Анатолий Кузнецов в их числе – счел для себя возможным эмигрировать по-настоящему.

Способ он избрал, надо сказать, неординарный. В командировку в Лондон в августе 1969 года отец был отправлен накануне 100-летия Ленина. Он заявил, что пишет роман о II съезде РСДРП. Этот съезд частично проходил в Лондоне, и отец в творческой заявке написал, что ему необходимо побывать на месте событий, постоять на могиле Карла Маркса на Хайгейтском кладбище, поработать в библиотеке Британского музея, где в свое время трудился Ленин, словом – “прочувствовать атмосферу”. Что ж, план его удался – прогрессивный писатель был командирован в британскую столицу, где он тут же ушел от своего “опекуна” и попросил политического убежища.

Отчаянная злоба обманутых советских чиновников выплеснулась на страницы печати с такой силой, что этот мутный поток захлестнул тогда и тех отцовских друзей и коллег, которые внутренне готовы были ему посочувствовать и даже посмеяться втайне над околпаченными “большевиками”. Имя отца было так старательно вычеркнуто изо всех советских анналов, что инерция этого вычеркивания сохранилась и тогда, когда советская власть приказала долго жить.

Это – первая формальная причина. Она была бы легкопреодолима, если бы не две последующие.

Вторая также связана с “исповедальностью” Анатолия Кузнецова. Вскоре после “невозвращения”, летом 1969 года, в английской газете “Санди Телеграф” было опубликовано интервью, данное им известному лондонскому журналисту и будущему своему коллеге по работе на радио Дэвиду Флойду. Желая избавиться от лжи, которая окружала его всю прошлую жизнь, наивно и немного по-детски веря, что, попав в нормальное общество, он может говорить правду безо всяких ограничений, Анатолий Кузнецов подробно и обстоятельно рассказал о своих связях с КГБ, о том, как с ним работали, как его вербовали, как он дал формальное согласие на сотрудничество, лишь бы ему позволили выехать за границу.

История простая: не пойман – не вор. А признался – получи клеймо доносчика, а заодно и “изменника”.

От него отвернулись даже некоторые левые деятели Запада, которые до появления книг Солженицына с охотой подвергали сомнению всю ладно выстроенную советскую систему воздействия на людей. В частности, в жесткую полемику с Анатолием Кузнецовым вступил Артур Миллер. Кроме того, резкие высказывания отца о либеральной интеллигенции в

СССР также вызвали полемику и неприятие его взглядов и поступков. Наиболее известен заочный спор отца с Андреем Амальриком, спор, в котором пределы корректности преодолевались сторонами с легкостью – в полемическом запале, конечно.

Наиболее порядочная часть оставшихся в стране деятелей литературы и искусства главным доводом считала возможность внутренней свободы, для отца же существование в таких условиях было неприемлемо. Вопрос этот не разрешен и до сих пор, но некоторая "рассерженность" на Анатолия Кузнецова жива и по сей день. Именно его, кажется, вывел Василий Аксенов (увы, я пишу эти строки в день похорон Василия Павловича на Ваганьковском кладбище в Москве) в своем романе "Ожог" под именем скульптора Серебро, и подобный взгляд на проблему там выражен наиболее точно и ясно.

Что уж и говорить о менее порядочных коллегах-писателях! Не секрет, что огромное большинство из них подвергались вербовке КГБ, и многие, согласившись, работали не формальности ради, чтобы отвязались, а искренне и со всем возможным рвением. Не секрет, что выезд за рубеж тогда для писателя почти автоматически означал сотрудничество с "органами". И вот один из их коллег честно признался в таком сотрудничестве – признался, чтобы на своем примере привести тяжелые и страшные доказательства невозможности жить по-старому, а также потребности жить в соответствии с тогда еще не выведенной Солженицыным чеканной формулой – не во лжи. Казалось бы, всем, кто подобно отцу хоть раз в жизни согласился на такое сотрудничество, надо было бы устыдиться, поняв, что все тайное обязательно станет явным!

А вышло наоборот: многие из тех, чья стукаческая деятельность была секретом Полишинеля, громче всех закричали "Держи вора!", прекрасно продолжая при этом ездить в зарубежные командировки и поражая соотечественников произведениями, написанными по мотивам этих поездок. Надо ли называть их имена? Надо ли говорить о том, что они, оказавшись после перестройки в прекрасной форме, продолжили свое участие в творческом процессе и предпочли забыть человека, чье честное признание стало для них вечным укором? Право же, повезло многим, что отец умер в 1979 году после третьего инфаркта, не дожив всего двух месяцев до 50-летия. А так… что ж: не стало человека – не стало и проблемы с совестью. Потому-то так легко его и забыли, заклеймив "пособником КГБ" – его, человека, о чьей смерти до сих пор шепчутся как о результате тайной деятельности советских "ниндзя".

Но и эта причина – еще не самая главная. Наверное, важнее все же другое. Все авторы-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь страны, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело. То есть – писали книги. Можно обсуждать их достоинства и сравнивать уровень литературы – но при наличии "объекта обсуждения". То есть – собственно литературного творчества. Случай же с Анатолием Кузнецовым – особый. Почти уникальный. За неполных 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. НИ ОДНОЙ.

И это – самая главная причина забвения. Однако точку ставить рано. Сам он в начале 70-х на вопрос, когда же будут новые произведения, отвечал бесшабашно и все так же по-детски: "А я теперь, слава богу, свободен. Хочу – пишу, хочу – не пишу".

Но, разумеется, все было не так просто. Отказавшись раз и навсегда от выдающегося метода "социалистического реализма", которому только и учили в Литературном институте имени Горького (а отец, между прочим, стал известным писателем еще до окончания этого знаменитого вуза), он решил сделать две вещи. Во-первых, прочесть побольше запрещенной в СССР литературы – Оруэлла, Кафку, Замятина, Бердяева… и много еще кого! – чтобы понять, как же надо и как можно писать в свободном мире. Во-вторых, написать что-нибудь "эдакое", в манере "потока сознания" или постимпрессионизма, отдаться свободному творчеству, не стесненному запретами и законами "соцреализма".

Лучше всего сказал об этом он сам: “Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть, или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда”.

И вот, проделав все запланированное, Анатолий Кузнецов вдруг осознал, что писать, например, как Джойс, он не в состоянии. Попросту не получается. Некоторые отрывки из незавершенного его романа “Тейч файв” были даже опубликованы, но реакция друзей, критиков и, что самое важное, самого автора, была единодушной: слабое и формальное подражательство. А писать по-другому он попросту не умел – и, не умея лгать в первую очередь самому себе, честно признавался в этом. “Я теперь, почитав настоящих, понял, что мне марать бумагу нечего. А ведь думал, что писатель”. Эти слова, услышанные его ближайшим лондонским другом Леонидом Владимировым, стали для Анатолия Кузнецова последней и самой беспощадной рецензией на собственное творчество.

Конечно, сейчас повторять эти слова всерьез не стоит. В конце концов, автор волен судить себя по самой высокой шкале, однако “Бабий Яр” или “Артист миманса” написаны, безусловно, талантливейшим писателем – сегодня в этом нет сомнения. Однако десятилетнее творческое молчание говорит о многом. И именно поэтому Анатолий Кузнецов выпал из литературного процесса у себя на родине – поговорив, потирая руки, о творческом кризисе и духовном опустошении эмигранта, на родине о нем благополучно забыли.

И вот тут-то мы подходим к самому главному. Не было творческого кризиса! В этом легко убедиться, прочитав книгу, которую вы держите в руках. В ней впервые в России (после публикации в “Новом мире”) выходят тексты его избранных программ на “Радио Свобода”.

Уникальность ситуации – все в той же творческой манере Анатолия Кузнецова. Исповедальность его прозы, ее максимальная откровенность и открытость – это уже не реализм, а нечто большее. Если хотите, это уже не вполне литература. Недаром же главный труд его жизни – “Бабий Яр” – имеет весьма красноречивый подзаголовок “роман-документ”. И, как это ни рискованно звучит, позволю себе предположить, что по складу своего дарования Анатолий Кузнецов был не столько писателем – литератором, облекающим в словесную форму некие мысли и чувства, сколько летописцем – человеком, которому ближе всего прямые, “нелитературные” высказывания.

Вспомним, что он говорил тогда, в августе 1969 года, в эфире “Радио Свобода”: “Жить и писать – для меня это одно и то же… Я уходил из Советского Союза – как зверь инстинктивно спасается от стихийного бедствия. Я ни о чем не думал, это было спасение… Ой, ребята, ребята, это фантастично, это представить себе невозможно, какое это все-таки счастье: наконец говоришь то, что ты хочешь”.

Вот и ключ к разгадке его “ухода” из литературы. Леонид Владимиров, работавший в те годы в лондонском бюро “Радио Свобода”, предложил отцу работу на радио, за что ему огромное спасибо. Как оказалось, предложение это было не просто своевременным – оно определило на ближайшие годы творческую судьбу Анатолия Кузнецова.

В самом деле: что могло быть более подходящим для “исповедального” писателя, чем возможность напрямую, без каких-либо литературных условностей обращаться к своим читателям?

И писатель-летописец стал публицистом. А читатели стали слушателями.

Нет смысла обсуждать тексты его радиопрограмм. Обращаясь к слушателям “Радио Свобода”, Анатолий Кузнецов получил долгожданную творческую свободу, и его талант летописца расцвел и проявился в полной мере. Грустно сознавать, что множество этих великолепных образчиков художественной публицистики были забиты советскими глушилками и в полной мере не дошли до слушателей. Возможность прямого обращения к ним стала для

писателя уникальным творческим стимулом, а широкая тематика его радиобесед – от лирических описаний английской природы до сверхполитизированных откликов на события в СССР – дала ему возможность создать уникальную картину жизни британского и советского общества глазами писателя-эмигранта. Авторский цикл бесед Анатолия Кузнецова с радиослушателями по праву входит в золотой фонд – причем не только "Свободы", но теперь, надеюсь, и русской литературы.

С выходом в свет этой книги в творчестве Анатолия Кузнецова заполняется гигантский пробел. Тексты его радиопрограмм не требуют комментариев, а актуальность их для своего времени совершенно не мешает воспринимать их сегодня, когда реалии нового времени кажутся совершенно иными.

К сказанному мне остается добавить лишь несколько подробностей.

Во-первых, приношу глубокую благодарность руководству "Радио Свобода", которое любезно предоставило мне тексты радиобесед Анатолия Кузнецова.

Во-вторых, следует заметить, что тексты эти сохранились, к сожалению, не полностью – некоторые потеряны, некоторые невозможно прочесть. Именно этим, а также и тем, что какие-то из них выглядят сегодня все же слишком "привязанными" к реалиям середины 70-х годов XX века, объясняется публикация в этой книге избранных бесед, а не полного их собрания.

В 2002-м увидели свет письма Анатолия Кузнецова, написанные им его матери (и моей бабушке) из Лондона в Киев в середине 70-х. Эта книга названа мной "Между Гринвичем и Куреневкой", снабжена моими комментариями, и фактически именно она является первой книгой Анатолия Кузнецова, созданной им в Лондоне и опубликованной в России. И вот, наконец, вместе с авторской версией "Бабьего Яра" опубликованы беседы Анатолия Кузнецова на "Свободе".

Две эти книги словно дополняют друг друга. Переписка с матерью – дело глубоко личное, в ней не затрагивается политика, в ней нет критики социализма. Здесь просто описывается нормальная и спокойная жизнь в Лондоне, та самая жизнь, которая в глазах советских обывателей была чем-то кошмарным. В своих письмах Анатолий Кузнецов, как и подобает летописцу, рассказывая о ней, незаметно заставлял читателей осознать тот простой факт, что такая жизнь, спокойная и размеренно-счастливая, – не есть нечто уникальное и недоступное большинству людей на земле. А в беседах на "Свободе" он уже говорил открыто, активно обсуждая политические события и критикуя советский строй.

Имя одного из талантливейших русских писателей возвращается в литературный обиход страны. Нет сомнения, что, проживи Анатолий Кузнецов хотя бы до начала XXI века, книг было бы больше, а участие его в жизни современной России было бы заметным.

Но эта история, увы, не знает сослагательного наклонения…

Бабий яр

К читателям

Первоначальную рукопись этой книги я принес в журнал «Юность» в 1965 году. Мне ее немедленно – можно сказать, в ужасе – вернули и посоветовали никому не показывать, пока не уберу «антисоветчину», которую поотмечали в тексте.

Я убрал важные куски из глав о Крещатике, о взрыве Лавры, о катастрофе 1961 года и другие – и официально представил смягченный вариант, в котором смысл книги был затушеван, но все же угадывался.

Тогда в СССР было еще свежо хрущевское «разоблачение культа личности Сталина», многим казалось, что начинается серьезная либерализация, опубликование «Одного дня Ивана Денисовича» А. Солженицына вселяло надежду, что, может, наконец, возможна настоящая литература.

Но смягченный вариант моего «Бабьего Яра» опять озадачил редакторов. Рукопись была нарасхват, все читали, восторженно отзывались в личном разговоре, а официально выдвигали убийственную критику, и редакция не отваживалась на публикацию без специального позволения. На советском языке это именуется: «Мы должны посоветоваться с вышестоящими товарищами».

Рукопись пошла по инстанциям – вплоть до ЦК КПСС, где ее прочел (но без ряда глав), как мне сказали, Суслов, и он в общем разрешил. Решающим для «вышестоящих товарищей» оказался ловкий аргумент редакции, что моя книга якобы опровергает известное стихотворение Евтушенко о Бабьем Яре, вызвавшее в свое время большой скандал и шум.

Нет, конечно, я это великолепное стихотворение не опровергал. Более того, Евтушенко, с которым мы дружили и учились в одном институте, задумал свое стихотворение в день, когда мы вместе однажды пошли к Бабьему Яру. Мы стояли над крутым обрывом, я рассказывал, откуда и как гнали людей, как потом ручей вымывал кости, как шла борьба за памятник, которого так и нет.

«Над Бабьим Яром памятника нет…» – задумчиво сказал Евтушенко, и потом я узнал эту первую строчку в его стихотворении. Я не противопоставлял ему свою книгу, просто размер романа позволял рассказать о Бабьем Яре куда больше и во всех его аспектах. В некоторых зарубежных изданиях к моему роману вместо предисловия ставили стихотворение Евтушенко, что лучше всего говорит само за себя.

Так или иначе публикация была разрешена, но поскольку в ЦК читали без ряда глав, следовало в первую очередь эти главы убрать. Затем главный редактор «Юности» Борис Полевой, ответственный секретарь Леопольд Железнов и еще много других людей сделали столько купюр, изменений, пометок, что порой за их разноцветными исправлениями не видно было текста.

С огромным трудом удалось сохранить название, его категорически требовали изменить («Чтобы не вызывало воспоминаний о стихотворении Евтушенко»), но тщательно убрали все критические упоминания о Сталине («Есть такое мнение, что сейчас не время»), вообще малейшую критику чего-нибудь советского («Роман антифашистский, критикуйте только гитлеровский режим»).

Доходило буквально до анекдота. В начале романа есть фраза, что у немцев орудия тянули огромные рыжие кони-тяжеловозы, перед которыми лошаденки, на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами. Фразу немедленно вычеркнули. Я дока-

зывал, что в конце книги описываю, как немцы отступают на наших малорослых лошаденках, ибо их рыжие тяжеловозы передохли, не выдержав. На это Б. Полевой возражал: «Пока читатель дочитает, он забудет начало, а в памяти у него останется лишь, что у немцев лошади были лучше, чем у нас». После отчаянных споров и всеобщих обсуждений фразу оставили в смягченном виде, но это было едва ли не единственное исключение.

О брошенном подбитом танке я, например, писал: «Прекрасной игрушкой для деревенских детей был этот танк». Вычеркнули, изрисовав поля знаками вопроса и ругательствами: оказывается, в этой фразе заключена страшная крамола – пацифизм. «Мы не бесхребетные пацифисты, мы не можем воспитывать у молодежи подобные настроения и неуважение к танкам».

Или я отважился высмеять негодные воинские повозки, которые, «храни Бог войны, ездить не годятся» – это уже вычеркивалось, как прямая антисоветчина, с какой-то патологической ненавистью. И что-то доказать, отстоять хоть единое слово – невозможно. Само собой разумеется, что такие главы, как «Людоеды» или «Горели книги» – перечеркивались одним взмахом, и о них даже речи не могло быть. В романе есть три главы под одинаковым названием «Горели книги» – сперва книги горят в 1937 году во время сталинских чисток, затем они горят в 1942 году при немцах, и наконец в 1946 году после выступления Жданова. Была оставлена только средняя глава, как книги горят при немцах.

Я спорил отчаянно, доказывал, что критически описывал злоупотребления культа личности, которые ведь осуждены. Мне возражали так: «Партия осудила достаточно. И нечего дальше об этом писать». А когда уж не было аргумента, то, при плотно закрытых дверях, многозначительно говорили мне:

«Они нам этого не пропускают, понятно?»

«Кто они? – спрашивал я. – Дайте мне с ними поговорить, вдруг сумею их убедить». Но существует правило: никогда, ни при каких обстоятельствах не допускать контакта автора с профессиональным цензором. И сколько я ни пытался, так ни разу не смог увидеть таинственных «их» и не знаю их имен.

* * *

До неузнаваемости переделывались и все мои прежние работы, как и писателей, с которыми я был знаком. Мы старались читать произведения друг друга в рукописях, а не напечатанными, потому что разница – огромная.

Перед писателем в СССР эта дилемма стоит всегда: либо вообще не печататься, либо печатать хотя бы то, что цензура позволила. Многие считают, что лучше донести до читателя хоть что-нибудь, чем ничего. Я тоже так считал. Была у меня переписка с Солженицыным на эту тему, я рассказывал, как меня уродует цензура и как всякий раз, несмотря на отчаянное мое сопротивление, добивается своего, так что в свет выходят книги-уроды, которые мне самому становятся ненавистны. Он писал, что на разумные уступки цензуре идти можно и приходится, но – до известного предела, очевидно.

Когда я увидел, что из «Бабьего Яра» выбрасывается четверть особо важного текста, а смысл романа из-за этого переворачивается с ног на голову, я заявил, что в таком случае печатать отказываюсь – и потребовал рукопись обратно.

Вот тут случилось нечто, уж совсем неожиданное. Рукопись не отдавали. Словно бы я уже не был хозяином ее. Помните заявления Солженицына, что он не имеет никакого контроля над своими рукописями? Так вот, отдав рукопись редакторам, я не мог получить ее обратно. Дошло до дикой сцены в кабинете Б. Полевого, где собралось все начальство редакции, я требовал рукопись, я совсем ошалел, кричал: «Это же моя работа, моя рукопись, моя бумага наконец! Отдайте, я не желаю печатать!» А Полевой цинично, издеваясь, говорил:

«Печатать или не печатать – не вам решать. И рукопись вам никто не отдаст, и напечатаем, как считаем нужным».

Потом мне объяснили, что это не было самодурством или случайностью. В моем случае рукопись получила «добро» из самого ЦК, и теперь ее уже и не публиковать было нельзя. А осуди ее ЦК, опять-таки она нужна – для рассмотрения «в другом месте». Но я тогда, в кабинете Полевого, не помня себя, кинулся в драку, выхватил рукопись, выбежал на улицу Воровского, рвал, набивал клочками мусорные урны вплоть до самой Арбатской площади, проклиная день, когда начал писать.

Позже выяснилось, что в «Юности» остался другой экземпляр, а может и несколько, включая те, что перепечатывались для ЦК. Редакция позвонила мне домой и сообщила, что вся правка уже проделана, новый текст заново перепечатан, а мне лучше не смотреть, чтобы не портить нервы. Идя навстречу, Б. Полевой согласен проставить на первой странице:

«Роман печатается в сокращении». На это я написал письмо, что подам в суд. Но, подумав, понял, что суд найдет способ, как отказать мне, и при этом все будут говорить: «Что вам надо, ведь редакция сама заявляет, что публикует роман в сокращении».

Последнее как-то убеждало и меня, опять исходя из принципа «хоть что-нибудь». И может, люди, увидев сноску, насторожатся, будут искать смысл между строк…

Переделанная без меня рукопись пошла в набор, прислали мне гранки, начал их читать, и у меня потемнело в глазах, точно помню, в прямом смысле. Я еще не знал, что и это не все. Потом еще из гранок продолжали вырезать да переверстывать, что я обнаружил, лишь уже когда купил в киоске журнал. И внизу была едва заметная, ничего не говорящая сноска «Журнальный вариант» вместо обещанной «Печатается в сокращении»…

* * *

К тому времени у меня был договор на издание романа отдельной книгой – с издательством «Молодая гвардия». Оставалась еще надежда что-нибудь восстановить: должна же «полная» книга чем-то отличаться от журнального варианта.

Сразу выяснилось, что издательство и слышать не хочет о добавлениях, наоборот, требует еще новых сокращений. Здесь началась история, возможная только в Советском Союзе.

Журнал «Юность» поступил за границу. И сразу во многих странах роман принялись переводить. Мне посыпались недоуменные письма переводчиков: они не понимали многих мест.

Например, цензура досокращалась до того, что в главе «Профессия – поджигатели» не осталось поджигателей, ни намека, даже слова такого нет, а оставлено лишь несколько абзацев о том, как герой читает Пушкина.

Или: вырезан парень с гармошкой, среди всеобщего отступления отрешенно играющий полечку, – но повторное упоминание о нем по недосмотру осталось, и оно совершенно непонятно без первого. Ругань деда Семерика в адрес советской власти, когда он называет ее порядки «кракамедией», вырезана, – и в другом месте непонятно, о каких «кракамедиях» дед снова говорит. И так далее.

Но, главное, переводчики запрашивали полный текст в отличие от журнального варианта, наивно принимая сноску «Юности» в прямом смысле и всерьез. Они посылали запросы официально через «Международную книгу». Ни я, ни «Международная книга» не знали, что им отвечать.

Наконец, где-то на верхах было решено снова обратиться к рукописи. С трудом удалось отобрать страниц 30 машинописного текста, которые вне контекста выглядели безобидно, и после великих трудностей, с поддержкой Иностранной комиссии Союза писателей, «Меж-

дународная книга» исхлопотала штампы цензуры на каждой из страниц – исключительно для доказательства иностранцам, что полный текст есть.

Но пока эти страницы кочевали по инстанциям со всей их бюрократией, заграничные переводы повыходили, и страницы со штампами цензуры опоздали.

Тогда я отнес их в «Молодую гвардию»; это были главы «Профессия – поджигатели», «Осколки империи», «Миллион рублей» (но опять-таки сильно урезанные), несколько кусочков к другим главам. В издательстве долго не хотели их вставлять. Я доказывал: «Это разрешено даже для заграницы», мне возражали: «Для заграницы может быть разрешено, но это еще не значит, что разрешено для СССР». Потом решились вставить, но при условии, что и я смягчу в других местах и допишу идейно-выдержанные абзацы «для равновесия», содержание которых мне редакторы буквально диктовали;

Чтобы спасти книгу в целом, я дописывал. Иногда читаешь хорошую книгу советского писателя – и вдруг натыкаешься на места, такие безвкусные, «идейные», что плюнуть хочется. Автор их дописывал, отлично зная, что они вызовут только недоумение и презрение читателя, но далеко не все читатели знают, что только такой ценой могло выйти в свет произведение. Особенно ярко это проявляется в книгах стихов. Они должны открываться стихами дежурно-идейными, которыми автор зарабатывает право поместить дальше уже и подлинную поэзию. Поэтому многие читатели начинают читать сборники стихов с конца, т. е. с лучшего.

Воевать за каждую фразу, торговаться, дописывать идейщину мне приходилось всегда. В СССР, с его иезуитским издательским делом, все запутано, сложно, любая книга обрастает наслоениями и зияет цензурными дырами. Издашь в журнале сколько сумеешь, потом в отдельной книге потихоньку что-то добавишь, а при переиздании еще чуточку, но вдруг меняется ситуация, и то, что легко проходило прежде, сегодня уже – страшная крамола, и наоборот.

И рукописи у меня существовали как минимум в двух вариантах: главный – только для себя, глубоко запрятанный, для печати же предлагается смягченный.

«Ситуация» изменилась в СССР как раз во время выхода «Бабьего Яра» отдельной книгой. Компетентные люди мне говорили, что с книгой мне повезло, еще месяц-другой, и она бы не вышла. Книга вдруг вызвала гнев в ЦК ВЛКСМ, затем в ЦК КПСС, публикация «Бабьего Яра» вообще была признана ошибкой, переиздание запрещено, в библиотеках книгу перестали выдавать; начиналась новая волна государственного антисемитизма.

* * *

У меня, однако, оставалась главная рукопись. Я продолжал над ней работать, уже, так сказать, «для себя и для истины». Вставил обратно переработанные и улучшенные куски к Крещатику, Лавре, катастрофе, добавлял новые факты, причем теперь уже о цензуре не думал, и рукопись стала такой, что я ее дома не хранил. У меня во время отъездов делались обыски, а однажды неизвестно кем был подожжен и сгорел мой кабинет. Важнейшие рукописи были у меня пересняты на пленки, которые в железной коробке были зарыты недалеко от дома, а сами рукописи я зарыл в стеклянных банках в лесу под Тулой, где они, надеюсь, лежат и сейчас.

Летом 1969 года я бежал из СССР, взяв с собой пленки, в том числе и пленку с полным «Бабьим Яром». Вот его выпускаю, как первую свою книгу без всякой политической цензуры, – и прошу только данный текст «Бабьего Яра» считать действительным.

Здесь сведено воедино и опубликованное, и выброшенное цензурой, и писавшееся после публикации, включая окончательную стилистическую шлифовку. Это, наконец, действительно то, что я написал. Но главные различия я решил сохранить, и вот зачем.

Для тех, кто этим интересуется, они могут дать представление об условиях, в каких выпускаются книги в СССР. Еще раз подчеркиваю: мой пример не исключение, наоборот, он самый рядовой и типичный. Читая книгу советского автора, всегда делайте поправку на цензуру, мысль ищите между строк.

Далее, изуродованный цензурой текст «Бабьего Яра» печатался миллионами экземпляров. Людям, которые его читали, а хотели бы знать полный текст, достаточно будет прочесть в этом издании лишь то новое, что публикуется впервые. Тем более, что в выделенных текстах заключается главный смысл книги, ради которого она вообще написана.

Должен сказать, что выделить тексты было не так просто. Засчитывать ли, как выброшенное цензурой, то, что я сам сократил после того, как мне вернули первую рукопись с отмеченной «антисоветчиной» и советом никому не показывать? Нет, очевидно. Это была самоцензура, вынужденная, но самоцензура. Потом я эти куски и переработал, и восстановил, но это уже мое дело, а подлинная цензура их не видела.

Далее, с каким текстом сравнивать? Тираж «Юности» – 2 миллиона экземпляров, тираж «Молодой гвардии» – 150 тысяч, то есть, большинству читателей известен текст «Юности». Тридцать машинописных страниц были добавлены цензурой вынужденно, только благодаря иностранным запросам, переиздание запрещено, и главное, все без исключения переводы на другие языки делались только с «Юности». Я и беру этот текст, как образец подцензурного издания.

Следующая сложность. При цензурных сокращениях иногда для логики требовались связующие слова, грамматические перестроения предложений, редакция это делала, и еще несколько особо ненавистных мне слов дописал Борис Полевой.

Восстанавливая текст, я убираю эти правки, а попутно делаю кое-где стилистические улучшения текста «Юности». Так что если кто-нибудь с журналом в руках станет буква в букву сверять текст, то он обнаружит кое-где мелкие разночтения, на смысле, однако, совершенно не отражающиеся. По-моему, отмечать их было бы чересчур громоздко. Главную задачу я себе ставил: показать действительно серьезные и принципиальные цензурные вмешательства.

Различия в настоящем издании сделаны так:

Обыкновенный шрифт – это было опубликовано журналом «Юность» в 1966 г. Курсив – было вырезано цензурой тогда же.

Взятое в скобки [] – дополнения, сделанные в 1967 – 60 гг.

Автор
Лондон, 1970 г.

Вступительная глава
Пепел

Все в этой книге – правда.

Когда я рассказывал эпизоды этой истории разным людям, все в один голос утверждали, что я должен написать книгу.

[Но я ее давно пишу. Первый вариант, можно сказать, написан, когда мне было 14 лет. В толстую самодельную тетрадь я, в те времена голодный, судорожный мальчишка, по горячим следам записал все, что видел, слышал и знал о Бабьем Яре. Понятия не имел, зачем это делаю, но мне казалось, что так нужно. Чтобы ничего не забыть.

Тетрадь эта называлась «Бабий Яр», и я прятал ее от посторонних глаз. После войны в Советском Союзе был разгул антисемитизма: кампания против так называемого «космополитизма», арестовывали еврейских врачей-«отравителей», а название «Бабий Яр» стало чуть ли не запретным.

Однажды мою тетрадь нашла во время уборки мать, прочла, плакала над ней и посоветовала хранить. Она первая сказала, что когда-нибудь я должен написать книгу.]

Чем больше я жил на свете, тем больше убеждался, что обязан это сделать.

Много раз я *принимался писать обычный документальный роман, не имея, однако, никакой надежды, что он будет опубликован.*

Кроме того, со мной самим произошла странная вещь. Я пытался писать обыкновенный роман по методу социалистического реализма – единственному, который я знал, которому учили со школьной парты и далее всю жизнь. Но правда жизни, превращаясь в «правду художественную», почему-то на глазах тускнела, становилась банальной, гладенькой, лживой и, наконец, подлой.

[Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть, или во всяком случае могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда.]

Я пишу эту книгу, не думая больше ни о каких методах, [ни о каких властях, границах, цензурах или национальных предрассудках.]

Я пишу так, словно даю под присягой юридическое показание на самом высоком честном суде – и отвечаю за каждое свое слово. В этой книге рассказана только правда – ТАК, КАК ЭТО БЫЛО.

[Я, Кузнецов Анатолий Васильевич, автор этой книги, родился 18 августа 1929 года в городе Киеве. Моя мать – украинка, отец – русский. В паспорте у меня была поставлена национальность «русский».]

Вырос я на окраине Киева Куреневке, недалеко от большого оврага, название которого в свое время было известно лишь местным жителям: Бабий Яр.

Как и прочие куреневские окрестности, он был местом наших игр, местом, как говорится, моего детства.

Потом сразу в один день он стал очень известен.

Два с лишним года он был запретной зоной, с проволокой под высоким напряжением, с концентрационным лагерем, и на щитах было написано, что по всякому, кто приблизится, открывается огонь.

Однажды я даже побывал там, в конторе концлагеря, но, правда, не в самом овраге, иначе бы эту книжку не писал.

Мы только слышали пулеметные очереди через разные промежутки: та-та-та, та-та… Два года изо дня в день я слышал, и это стоит в моих ушах сегодня.

Под конец над оврагом поднялся тяжелый, жирный дым. Он шел оттуда недели три.

Понятно, что когда все кончилось, мы с другом, хоть и боялись мин, пошли смотреть, что же там осталось.

Это был огромный, можно даже сказать величественный овраг – глубокий и широкий, как горное ущелье. На одном краю его крикнешь – на другом едва услышат.

Он находился между тремя киевскими районами: Лукьяновкой, Куреневкой и Сырцом, окружен кладбищами, рощами и огородами. По дну его всегда протекал очень симпатичный чистый ручеек. Склоны – крутые, обрывистые, иногда просто отвесные, и в Бабьем Яре часто бывали обвалы. Впрочем, для тех мест он обычен: правый берег Днепра сплошь изрезан такими оврагами, главная улица Киева Крещатик образовалась из Крещатого Яра, есть Репьяхов Яр, Сырецкий Яр и другие, их много там.

Мы шли и увидели, как с одной стороны оврага на другую перебирается оборванный старик с торбой. По тому, как уверенно он шел, мы поняли, что он где-то здесь обитает и ходит не первый раз.

– Дед, – спросил я, – евреев тут стреляли или дальше?

Дед остановился, оглядел меня с ног до головы и сказал:

– А сколько тут русских положено, а украинцев, а всех наций?

И ушел.

Мы знали этот ручей как свои пять пальцев, мы в детстве запруживали его маленькими плотинами – «гатками», и купались.

В нем был хороший крупнозернистый песок, но сейчас он был весь почему-то усыпан белыми камешками.

Я нагнулся и поднял один, чтобы рассмотреть. Это был обгоревший кусочек кости величиной с ноготь, с одной стороны белый, с другой – черный. Ручей вымывал их откуда-то и нес. Из этого мы заключили, что евреев, русских, украинцев и людей других наций стреляли выше.

И так мы долго шли по этим косточкам, пока не пришли к самому началу оврага, и ручей исчез, он тут зарождался из многих источников, сочившихся из-под песчаных пластов, отсюда-то он и вымывал кости.

Овраг здесь стал узким, разветвлялся на несколько голов, и в одном месте песок стал серым. Вдруг мы поняли, что идем по человеческому пеплу.

Рядом тут, размытый дождями, обрушился слой песка, из-под него выглядывали гранитный тесаный выступ и слой угля. Толщина этого угольного пласта была примерно четверть метра.

На склоне паслись козы, а трое мальчишек-пастушков, лет по восьми, усердно долбили молотками уголь и размельчали его на гранитном выступе.

Мы подошли. Уголь был зернистый, бурого оттенка, так примерно, как если бы паровозную золу смешать со столярным клеем.

– Что вы делаете? – спросил я.

– А вот! – Один из них достал из кармана горсть чего-то блестящего и грязного, подбросил на ладони.

Это были полусплавившиеся золотые кольца, серьги, зубы.

Они добывали золото.

Мы походили вокруг, нашли много целых костей, свежий, еще сырой череп и снова куски черной золы среди серых песков.

Я подобрал один кусок, килограмма два весом, унес с собой и сохранил. Это зола от многих людей, в ней все перемешалось – так сказать, интернациональная зола.

Тогда я решил, что надо все это записать, с самого начала, как это было на самом деле, ничего не пропуская и ничего не вымышляя.

Вот я это делаю, потому что, знаю, обязан это сделать, потому что, как говорено в «Тиле Уленшпигеле», пепел Клааса стучит в мое сердце.

Таким образом, слово «ДОКУМЕНТ», проставленное в подзаголовке этого романа, означает, что здесь мною приводятся только подлинные факты и документы и что ни малейшего литературного домысла, то есть того, как это «могло быть» или «должно было быть», здесь нет.

Первая часть

Советская власть кончилась

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение
21 сентября 1941 года

В течение 21 сентября наши войска вели бои с противником на всем фронте. После многодневных, ожесточенных боев наши войска оставили Киев[1].

Я увидел, как они бегут, и понял, что это конец. Красноармейцы – в своей защитной, выгоревшей форме, одни со скатками, иные уже и без ружей – редко побежали через дворы, по огородам, перепрыгивали заборы.

Говорили потом, что они забегали в дома, умоляли дать штатское платье, и бабы, давали поскорее какое-нибудь тряпье, они переодевались, надеясь скрыться, и бабы, топили в выгребных ямах бесполезное оружие и гимнастерки со знаками отличия.

Стало очень тихо. Много дней шли бои, гремела канонада, выли сирены, бомбежки были одна за другой, по ночам весь горизонт освещался зарницами и заревами, мы спали на узлах в окопе, земля тряслась и сыпалась нам на головы.

И вот стало тихо – та тишина, которая кажется страшнее всякой стрельбы. И было неизвестно, *где мы: еще под Сталиным, уже под Гитлером, или на узкой полосе посредине?*

С железнодорожной насыпи четко и близко чесанул пулемет. Со старого вяза над окопом посыпались мелкие веточки и листья. Я грохнул люком и обрушился в яму, где дед зашипел на меня и дал по уху.

Наш окоп, вырытый на огороде, был типовой противовоздушной защитой – «щелью» – тех времен: в форме буквы «Т», два метра глубиной, сантиметров семьдесят шириной. Такими щелями были изрыты дворы, скверы и улицы, советское радио призывало их рыть и объясняло, как.

Но мы с дедом работали несколько дней, улучшая схему. Земляные стенки мы обшили досками, пол выложили кусками кирпича, а сверху сделали покрытие. У нас, конечно, не было бревен, чтобы сделать три наката, но мы намостили поверх окопа полутораметровые дровяные плашки и вообще навалили сверху все дрова, какие только нашлись в сарае.

Дед рассуждал так: если на окоп упадет бомба, она, значит, шарахнет в эти дрова, поленья разлетятся, как бильярдные шары, а нас взрыв не достанет: куда ему, подлому, разрушить такую крепость!

Для прочности мы еще набросали на дрова земли, для маскировки обложили дерном, так что получился внушительный и ярко приметный холм, под которым, если опустить входной люк, было глухо и темно, как в могиле.

Наше счастье, что поблизости ничего не взорвалось, и не попал хотя бы приличный осколок, а то все эти дрова так бы и рухнули нам на головы. Но тогда мы этого еще не знали, гордились делом рук своих и были уверены, что сидим в великолепной безопасности.

Прежде, пока у нас не было такого хорошего бомбоубежища, мы с дедом и бабкой прятались от бомб под кроватью.

---

[1] («Правда», 22 сентября 1941 г. Киев был сдан 19 сентября, а не 21 сентября, как сообщает сводка.)

Кровать была старинная, добротная, со спинками из листового железа, на которых были нарисованы масляными красками картины: мельницы, озера с лебедями и замки. Мы думали так: если бомба упадет, она пробьет крышу, потолок, подпрыгнет на пружинном матраце с периной, разорвется, а перина да еще два ватных одеяла осколков, естественно, не пропустят.

Чтобы не лежать на голом полу, бабка постелила и под кроватью одеяло, положила подушки, так что вышло очень уютно.

И когда начиналась стрельба и стекла зудели от воя бомбардировщиков, дед кидался под кровать первым. Он закатывался подальше и прижимался к стенке. За ним вкатывался кубарем я и прижимался к нему. А бабка, вечно замешкавшись у печки, прихватывала кота Тита, ложилась с краю, закрывая всех нас собой, и так мы спасались.

Дед шептал молитвы и ругался в мой адрес:

– От, гомон, чего ты крутишься, будто червяк в тебе сидит?

Закончив строительство нашего мощного окопа, мы стали бегать в него в той же последовательности, только бабка всегда бежала с подушками и одеялом (она их в окопе не оставляла, чтобы не сырели).

Кот Тит привык к войне; при первых же выстрелах, задрав хвост, огромными прыжками несся прямо к люку в окоп и с мукой в глазах мяукал, чтобы его спустили. Потому что по отвесной лестнице он мог только вылезать, а спускаться не научился.

До сих пор не знаю, что это за слово – гомон. Дед умер, я забыл у него спросить. А червяк любознательности мучил меня всегда. Я высовывался, чтобы разглядеть самолеты и увидеть на них жуткие кресты, пытался разглядеть, как рвутся бомбы.

Но вот когда побежали красноармейцы и стало ясно, что это конец, мне стало страшно видеть это, по-настоящему, наконец, страшно.

В окопе горела керосиновая лампа, пахло чадом. Мать (до этого она днями и ночами дежурила в своей школе) сидела на табуретке с ужасом в глазах. Дед ел – он у нас всегда ел, когда волновался. Его седая борода, разделенная на два клинышка, резко двигалась, потому что из-за вставных челюстей он не жевал, а «жамкал», как говорила бабка, и крошки сыпались ему в бороду. Бабка едва слышно молилась, крестясь перед иконой Божьей матери, которую принесла сюда. Я сам забивал в доску гвоздик, чтобы повесить; эта икона мне нравилась, из всех бабкиных икон она была у меня самая любимая.

А в стенах за досками что-то тихо шуршало, возилось: там жили своей личной жизнью, абсолютно безразличной к войне, жуки и черви, и деятельные муравьи.

Земля, наконец, перестала вздрагивать и сыпаться с потолка. И в этой жуткой тишине казалось, что сейчас произойдет что-то ужаснейшее, какой-то немыслимый взрыв.

Я сидел, едва дыша, ожидая этого взрыва…

Вдруг раздался глухой топот, люк поднялся, и соседка Елена Павловна, возбужденная, на себя не похожая, *закричала с радостным изумлением, с торжеством:*

– Что вы сидите? Немцы пришли! Советская власть *кончилась*!

Мне было двенадцать лет. Многое для меня в жизни происходило впервые. Немцы пришли тоже впервые. Я прежде всех вылетел из окопа, зажмурился от яркого света и отметил, что мир стал какой-то иной – *как добрая погода после шторма,* – хотя внешне как будто все оставалось по-прежнему.

Елена Павловна, захлебываясь, взмахивая руками, говорила *умиленно, радостно*:

– … молоденький, такой молоденький стоит!.. Мои же окна на улицу. Машина ушла, а он, молоденький, *хорошенький*, стоит!..

Я немедленно рванул через двор, взлетел на забор.

У ограды сквера на нашей Петропавловской площади стояла низенькая, хищная, длинноносая пушка на толстых надутых шинах. Возле нее – действительно очень молоденький,

белокурый, розовощекий немецкий солдатик в необычно чистой и ладно сидящей на нем серо-зеленой форме. Он держал винтовку на весу, заметил, что я смотрю на него, и загордился. Очень мило загордился так, зафасонил.

Был у меня друг жизни, старше меня года на три, Болик Каминский, я еще о нем расскажу. Его эвакуировали с училищем фабрично-заводского обучения – ФЗО. Так вот этот парнишка был очень похож на друга моего Болика.

Понимаете, я ожидал всего: что немцы – страшные гиганты, что ли, все сплошь на танках, в противогазных масках и рогатых касках, и меня потрясло, что этот парнишка такой обыкновенный, ну, ничего особенного, совсем как наш Болик.

Зафасонил, ага, я б тоже зафасонил, имей такую пушку.

В этот момент раздался тот самый невероятный взрыв, которого я так ждал. Я задохнулся, ударился подбородком о забор, чуть не свалился. А солдатик позорно присел и съежился, перепугано прижавшись к пушке.

Но нужно отдать ему должное: он тотчас опомнился, независимо встал и принялся смотреть куда-то поверх моей головы. Я обернулся и увидел, как в синем небе, за вершинами деревьев, опадают, крутясь и планируя, обломки досок.

– Ах, подорвали-таки мост, *проклятые* босяки! Э! – сказал дед, подходя к забору и высовывая нос, чтобы тоже поглядеть на первого немца. – Фью-фью, вот это да!.. Ну куда ж с ними Сталину воевать, Господи прости. Это же – армия*! Это не наши разнесчастные – голодные да босые*. Ты посмотри только, как он одет!

Действительно, солдатик был одет превосходно. На газетных карикатурах и в советских кинофильмах немцев изображали оборванными бродягами и бандитами, *а советские воины были всегда красивые, подтянутые, розовощекие.*

Вздымая пыль, подлетела угловатая, квадратная и хищная машина, лихо развернулась (мы с дедом жадно смотрели), и такие же подтянутые, ловкие, как фокусники, молодые ребята-немцы прицепили пушку в один миг, повскакали на подножки и, вися по обеим сторонам машины, лихо умчались в сторону Подола.

– Да-а… – сказал потрясенный дед и перекрестился широко; – *Слава тебе. Господи,* кончилась эта босяцкая власть, *а я уж думал не доживу*... Ступай, помогай носить вещи в хату: в яме все отсырело. Будем теперь жить.

Не весьма охотно поплелся я к окопу. Там мама подавала из темной дыры узлы, чемоданы, табуретки, бабка принимала и складывала в кучу, а я стал носить.

Столько раз за последнее время мы это дело повторяли: в окоп, из окопа, вниз, вверх, хоть бы было что порядочное прятать, а то ж одни шмотки на шмотках, какой-то кожух царских времен, в заплатах, молью съеденный, *штаны застиранные,* подушки… В общем, занятие не для мужчины.

Из – за забора высунулась голова второго моего друга жизни – Шурки Мацы. Делая огромные глаза, он закричал:

– По трамвайной линии немцы идут! Пошли!

И меня как ветром сдуло.

Вся Кирилловская улица *(при советской власти она называлась улицей Фрунзе, но название не прививалось),* была, сколько видно в оба конца, забита машинами и повозками. Автомобили были угловатые, со всякими выступами, решетками, скобами.

У каждой машины есть лицо, она смотрит на мир своими фарами безразлично, или сердито, или жалобно, или удивленно. Так вот эти, как и первая, что увезла пушку, смотрели хищно. Отродясь я не видел таких автомобилей, и мне казалось, что они очень мощные, они заполнили улицу ревом и дымом.

Кузова некоторых грузовиков представляли собой целые маленькие квартиры, с койками, привинченными столами.

Немцы выглядывали из машин, прогуливались по улице – чисто выбритые, свежие и очень веселые. *Будешь свежим и веселым, если у них пехота, оказывается, не шла, а – ехала!* Они смеялись по любому поводу, что-то шутливо кричали первым выползающим на улицу жителям. Между фурами со снарядами и мешками лихо юлили *мужественные* мотоциклисты в касках, с укрепленными на рулях пулеметами.

Доселе нами невиданные, огромнейшие, огненно-рыжие кони-тяжеловозы, с гривами соломенного цвета, медлительно и важно ступая мохнатыми ногами, запряженные шестерками, тянули орудия, будто играючи. Наши малорослые русские лошаденки, *измордованные и полудохлые,* на которых отступала Красная Армия, показались бы жеребятами рядом с этими гигантами.

В ослепительных белых и черных лимузинах ехали, весело беседуя, офицеры в высоких картузах с серебром. У нас с Шуркой разбежались глаза и захватило дыхание. Мы отважились перебежать улицу. Тротуар быстро наполнялся, *люди бежали со всех сторон, и все они, как и мы, смотрели на эту армаду потрясенно, начинали улыбаться немцам, в ответ и пробовать заговаривать с ними.*

А у немцев, почти у всех, были книжечки-разговорники, они листали их и кричали девушкам на тротуаре:

– Панэнка, дэвушка! Болшовик – конэц. Украйна!

– Украина, – смеясь, поправили девушки.

– Йа, йа! У-край-ина! Ходит гулят шпацирен битте!

Девчонки захихикали, смущаясь, и все вокруг посмеивались и улыбались.

От Бондарского переулка образовалось какое-то движение: видно было, как торжественно плывут головы, и вышла процессия стариков и старух.

Передний старик, с полотенцем через плечо, нес на подносе круглый украинский хлеб с солонкой на нем. Толпа повалила на зрелище, затолкались.

Старики опоздали и растерялись: кому вручать?

Передний двинулся к ближайшему белому лимузину, откуда, улыбаясь, смотрели офицеры, и с поклоном подал поднос. Мы с Шуркой потеряли друг друга. Я изо всех сил пытался протиснуться. Там что-то говорили, грохнул смех, задние спрашивали: «Что он сказал? Что он сказал?» – но колонна двинулась дальше, я только увидел, как в проезжающем автомобиле офицер передавал хлеб с полотенцем на заднее сиденье.

Вокруг стали говорить, что где-то тут немцы кричали: «Масло, булки!» – и сбросили прямо на трамвайную линию ящик с маслом и корзины с булками – бери, мол, кто хочешь. Я заметался, пытаясь понять, где это, и побежал к мосту над Вышгородской улицей.

У моста масла и булок не оказалось, но был пожар. Угловой кирпичный дом горел спокойно и лениво, подожженный влетевшим в окно снарядом. Забор уже свалили прямо на росшие у дома цветы, по ним топтались. Две женщины и девочка лопатами копали землю и кидали на огонь, потому что воды не было. Из толпы зевак вышел мужчина, взял палку и стал безжалостно бить стекла в окне.

Немец спрыгнул с машины, прицелился фотоаппаратом, приседал и выгибался, снимая пожар крупным и общим планом.

Мужчина полез в окно и стал подавать женщинам стулья, ящики с бельем из шкафа, вышвыривал пальто и платья, и все его хвалили, и я тоже подумал: какой молодец!

Войска продолжали тучей валить из-под моста. Ярко светило солнце, не было никакой пальбы – только рев моторов, грохот колес, голоса, смех. После долгого сидения в яме я совсем одурел от всего этого; пошатываясь, побрел домой отчитываться.

А у нас во дворе стоял серо-зеленый солдат с ружьем через плечо и с веревкой в руках – простецкий такой, с белесыми ресницами и красным лбом, равнодушно поглядывал по сторонам, а дед, жестикулируя, приглашал его в сарай:

– Тут ниц, ниц, ниц, а там, может быть, ист! Надо посмотреть, битте. Солдат неохотно поплелся в сарайчик.

– Они пленных ищут, – сказала мне бабка с крыльца.

В сарае был люк в погребок. Солдат стал показывать руками:

– Шпицки, пшицки.

Дали ему спички. Он зажег и осторожно заглянул в дыру.

– Партизан! – громко и иронически сказала бабка.

Солдат отпрыгнул, как ужаленный, вертя головой и подозрительно глядя на всех нас.

– Я смеюсь, – сказала бабка, – иди, иди, не бойся. Нет партизан.

Но солдат что-то недовольно сказал, в погреб лезть не захотел, а строго показал деду на красный домовый флаг, который мы по праздникам должны были вывешивать на воротах.

– Это.

– Да, да, – засуетился дед, взял флаг и оторвал от древка. – Марфа, скорей кинь в печку. *А палка хорошая, на метлу пойдет.*

Пришел другой солдат, тоже с веревкой, возбужденно кликнул первого, и они побежали. Бабка поманила меня в сени.

– На, полезь на чердак, засунь там, в газету какую-нибудь заверни.

– Да на что он, бабка?

– Никто ничего не знает, сынок… Да и у немцев вон красные флаги, велят цеплять – опять новую материю покупай. Делай, сынок, как я говорю.

Я понял. Полез на чердак, пробрался по-пластунски в дальний угол, затискал сверток под балку, а когда, наевшись паутины, спустился, бабка стояла в воротах с Еленой Павловной и звала:

– Старый! Иди быстро, партизана ведут.

Наш краснолобый солдат вел по улице здоровенного грязного кабана, захлестнув его веревкой поперек туловища, другой подгонял хворостиной, и вокруг шли еще другие солдаты кучкой, удовлетворенно голготали.

Делая большие глаза и ахая, Елена Павловна рассказывала, что солдаты совсем не пленных ищут, а… грабят. И у Каминских взяли кабана, и кожухи тащат, а у нее заглядывали в шкаф, под кровать, сняли с подушек наволочки и зачем-то полотенце с гвоздика. Сосед не хотел отдать кабана, так они оставили расписку, сказав: «Официр плати». Нам, выходит, повезло, если ничего не взяли, может, оттого, что дед немецкие слова говорил, они постеснялись.

Дед озабоченно посмотрел вслед мужественной вооруженной процессии с кабаном.

– А ну, – строго сказал он, – давайте носить вещи обратно в окоп. Трясця его матери, я и забыл, это же их право победителя: три дня грабить все, что хотят!

Грабить чертовски интересно, но нужно уметь

Сосед отправился с распиской в школу, где уже расположился, похоже, штаб. Я немедленно увязался за ним, думая: вот ему дадут немецкие деньги, а я попрошу их посмотреть.

У ворот я остался. Он там, во дворе, объяснялся, вошел в дверь. Потом я увидел, как он с грохотом вылетел из нее, нелепо взмахивая руками, солдаты закричали, защелкали затворами, я испугался, что сейчас будут стрелять, и драпанул за угол.

Через площадь все шли войска, но реже. А от базара бежали какие-то подозрительного вида люди с набитыми мешками, и лица у всех были жадно-возбужденные. Поняв, что меня там явно не хватает, я тоже кинулся к базару.

Там грабили большой обувной магазин. Витрина была вдребезги разбита, в нее, деловито пихаясь локтями, хрустя стеклами, лезли дядьки и тетки. Я кинулся за ними, успел увидеть, как хватают коробки с ботинками и калошами. Боже мой, какое сказочное добро по тем временам! Но пока я пробился, полки опустели, как ветром выметенные, а толпа забурлила в углу. Я заметался, прыгая на чужие спины, досадуя: ну вот же, вот же, прямо на глазах все хватают, а мне не дотянуться. Друг у друга из рук рвали уже связки шнурков и коробочки ваксы.

Тогда я сквозь витрину выпрыгнул обратно на улицу, осматриваясь: нет ли другого, еще не разграбленного магазина? Эх, какая досада: пока я метался в обувном, рядом разбили хозяйственный магазин, и уже тащили оттуда банки с красками, связки лопат и замков.

Я вбежал, заработал локтями, протискиваясь к прилавку, но видел только ноги, топчущие рассыпанный мел и замазку. Заметил, что мужики повалили в подсобку, полез, получил в дверях по голове, по зубам. От боли я озверел, разбежался и вклинился между двумя мужиками, меня сдавили так, что захрустели ребра, но прямо передо мной наконец был разломанный ящик.

В нем, переложенные соломой, лежали новенькие керосиновые лампы, без стекол. Я дотянулся, отталкивая чужие руки, схватил одну, другую – и ламп уже не стало.

Я дрожал, я понимал, что эта моя добыча – тьфу. Но магазин пустел, грабители бежали дальше. Я выбежал и чуть не заревел: разбили “Галантерею”, а ведь она была еще целой, когда я сюда пришел. Кажется, грабили ее одни бабы, визжали, и магазинчик, казалось, ходуном ходил.

Тут я, извиваясь, пробился туда и схватил с полки коробку. Бабы ее у меня потянули, но я уцепился, как кот за мясо, у меня вытряхивали душу, коробка треснула, из нее посыпались простые черные пуговицы для пальто. Десятки рук стали загребать эти пуговицы, и я тоже бешено загребал и насыпал их в карманы, потому что у меня все-таки было больше прав на них, чем у других…

Заметил, что под ногами катаются одежные щетки, стал их ловить, выудил штук пять, но выронил одну лампу, которую у меня прямо из-под носа тут же схватила какая-то подлая баба.

Измолоченный, покачиваясь, я вышел наружу, увидел, как из продовольственного волокут мешки с солью, но, пока я добежал, там остались лишь бумага да пустые ящики.

Я готов был зарыдать, я сроду не был жадным, был у бабушки таким воспитанным, вежливеньким внучком, и вдруг этот грабеж захватил меня, как горячая лавина, у меня горло сдавило от жадности и азарта.

И, главное, я понимал, что это был неповторимый, редчайший случай – так богато, так великолепно, так безнаказанно пограбить. А я все пропустил, опоздал на какую-то

малость!.. Что значит отсутствие опыта. «Ну, ладно же, – подумал я, утешая сам себя. – Зато уже в следующий раз…» А когда же он будет, этот следующий раз?…

Собрал с горя по прилавкам гири от весов и понес все добро домой.

Из окон, из ворот выглядывали люди. Сосед Павел Сочава на всю улицу иронически сказал:

– А вот и Толя награбил. Иди скажи своей матери, чтобы она тебя выпорола.

Меня словно окатили холодной водой. Я так гордо нес свою лампу и щетки, а тут поскорее юркнул во двор, выгрузил в сенях добычу… Мама ахнула:

– Это что еще такое?

Бабка посмотрела, качнула головой:

– Или у нас лампы нет, сынок?

Зато дед меня понял и похвалил:

– А вот и пусть! Молодец! *Большевики сами у народа все ограбили да втридорога же и продавали, это наше*. Ах, я не знал, прозевал, ах, прозевал!

Шатковский вон пол-«Гастронома» вынес, бочку с подсолнечным маслом прикатил. Какой был случай! А тут только нас грабят.

Оказывается, пока я был на базаре, пришли шесть солдат, потребовали: «Яйка, млеко!» – полезли всюду, как у себя дома, забрали картошку, капусту, помидоры…

Ну, чертовщина, гляди, что на свете делается: одни там грабят, другие, значит, тут. Дела!

Меня все еще трясло от возбуждения и подстегнула дедова похвала, я побежал звать Шурку Мацу, мы вдвоем понеслись опять на базар. Он был уже пуст. Как мы ни шарили – ничего, как метлой подметено, магазины усыпаны только бумагой, соломой и стеклом. В обувном мы залезли в кассу, стали крутить ручку. *Навыбивали себе чеков на тысячи рублей, вышли, разбрасывали их по улице и, уже равнодушные,* смотрели, как в город все вступают и вступают войска.

Шли тягачи, вездеходы, ехали колонны солдат на велосипедах и обозы на простых телегах. Те, что вошли и разместились, носили узлы с барахлом, перекинутые через плечо шубы.

Поднялся ветер, гонял солому и бумагу, нес дым от машин, войска все шли, шли тучей, и не было им конца, и все исправно, как саранча, принимались что-нибудь тащить. Спокойный такой, вроде нормальный, прозаический грабеж… Это была пятница, 19 сентября 1941 года.

Итак, мы в этой новой жизни

КИЕВ В РУКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК

Главная квартира Фюрера 20 сентября
Верховное Командование
Немецких Вооруженных Сил сообщает:

Наряду с операциями по окружению советских армий на востоке было начато наступление на столицу Украины – Киев. После отважного прорыва сильных укреплений на западном берегу Днепра наши войска вошли в город. Над цитаделью Киева с сегодняшнего утра развевается немецкое военное знамя.

Наступательные операции на восток от Днепра неудержимо идут вперед. В боях за укрепления Ленинграда имеем крупные успехи…[2]

Газета «Украинское слово» к моменту взятия немцами Киева вышла пятнадцатым номером, печатаясь сперва в Житомире. Ее не то продавали, не то раздавали на улицах торжествующие энтузиасты, это дед ее добыл, как святыню принес и жадно хотел читать.

Но в чтении мелкого шрифта, да еще на дрянной, словно оберточной бумаге, он не был силен и перепоручил это дело мне, сам же слушал, философски осмысляя.

Привожу только заголовки из этой газеты:

КИЕВ В РУКАХ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОЛТАВА ЗАНЯТА
ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
ЗАНЯТИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ТЕРРИТОРИЙ ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
100.000 КГР. БОМБ СБРОШЕНО НА ПОРТ ОДЕССЫ
ГИГАНТСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В БОЯХ НА ПЛАЦДАРМЕ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ ДНЕПРА
БОРЬБА УКРАИНСКОГО НАРОДА
РОСТ ИСКУССТВА В ЖИТОМИРЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ НА ХОЛМЩИНЕ «КИЕВУ», стихотворение Якова Нагорного.

…Здесь я сделаю традиционное отступление и хотя бы самым беглым образом расскажу о нашей маленькой семье: кто мы были, какие и почему.

Сам я терпеть не могу в книгах подобные отступления, пропускаю их, и если вам мое отступление покажется неинтересным, вы тоже смело пропускайте его, потому что главное в этой книге – гораздо дальше.

Но если вам интересно, как человек мечтает о Гитлере, прочтите хотя бы про моего деда.

СЕМЕРИК Федор Власович, мой дед, ненавидел советскую власть всей своей душой *и страстно ждал немцев, как избавителей, полагая, что хуже советской власти уж ничего на свете быть не может.*

Нет, он отнюдь не был фашистом или монархистом, националистом или троцкистом, красным или белым, он в этом вообще ни черта не смыслил.

[2] «Українське слово», 21 сентября 1941 г. Газета на украинском языке, издававшаяся оккупационными властями.

По происхождению он был из украинских крепостных, крестьянин-бедняк. По социальному положению – городской рабочий с долгим стажем. А по сути своей – *самый простой,* маленький, *голодный*, запуганный обыватель Страны *Советов, которая ему – мачеха.*

Дед родился в 1870 году – в одном году с Лениным, но на этом общее между ними кончалось. *Дед не мог слышать самого имени Ленина, хотя тот давно умер, как умерли или были перебиты многие ленинцы. Он считал, что именно от Ленина все беды, что тот «играл в Россию, как в рулетку, все проиграл и сдох».*

Когда он такое говорил, бабка в ужасе *оглядывалась по сторонам и демонстративно* восклицала во дворе:

– *Перестань молоть, малахольный.* Вот хорошие люди умирают, а ты, паразит, все живешь.

Дед родился и вырос в селе Шендеровке Каневского уезда, в какой-то отчаянной селянской семье с одиннадцатью детьми, жившей, по его словам, в полуразрушенном курене.

Юность он провел в батраках у немецких колонистов на Херсонщине, навсегда оставив семью. Отслужив в солдатах, пошел на заработки в Киев, слонялся в поисках работы, был дворником у генерала, женился на прачке, пошел на трамвай кондуктором и все мечтал о своем домике и достатке: чтоб можно было досыта наесться и не думать о завтрашнем дне – вот был предел его мечтаний.

Они с бабкой голодали, холодали, складывали копейку к копейке, угробили свою молодость, но купили, наконец, крохотный кусочек болота на Куреневке, сами осушили его, сами долго строили хату – и тут грянула революция.

Добра она не принесла, лишь новый голод, страх, – и начисто отняла мечту. *Красивым словам большевиков о земном рае в туманном будущем дед не верил. Он был практик.*

Много лет затем дед работал на обувной фабрике № 4 слесарем-канализатором, *в вонючей робе лазил с ключами по трубам, ранился у станка – уж такой рабочий класс, что дальше некуда.* И все эти годы он не переставал ненавидеть власть «этих босяков и убийц» и «нет, не хозяев».

Его, бывшего крестьянина, в окончательный ужас привела коллективизация с ее колхозами, вызвавшая невиданный голод. Строительство заводов, *шумно расписываемые в те годы Днепрогэс,* завоевание Северного полюса там или неба – были деду решительно «до лампочки».

Северный полюс завоевали, зато когда дед с бабкой завели, *наконец, свою радужную мечту* – корову, ее нечем было кормить. Очереди за комбикормом были, как туча. Рядом с хатой, за железнодорожной насыпью огромный *богатый* луг *пропадает*, а пасти нельзя. Как уж дед ни изворачивался, кому только ни совал, чтобы достать сена! Рыскал с мешком и серпом по Бабьему и Репьяхову Ярам, *аккуратно срезал траву под заборами.* Сам не пил молока – посылал на базар бабку продавать. *Помнил, что у барина-немца была корова, дававшая в день три ведра молока, и думал, что если нашу облезлую Лыску кормить, она, может, тоже столько будет давать.*

В общем, он был великий комбинатор. И *от постоянных неудач, судорожной бедности противен стал* и завистлив необычайно. Завидовал половине Куреневки, особенно тем, у кого был хороший огород и кто мог таскать корзинами на базар редиску. Куреневка испокон веков спасалась редиской, а также поросятами и курами, глухая ко всяким наукам, искусствам или политике, вернее, требуя в политике одного: чтоб разрешали продавать редиску.

У Горького в «Детстве» есть такая песня:

Один нищий вывесил портянки сушить,
А другой нищий портянки украл.

Так вот мой дед был завистлив. Но ему не дотянуться было до подлинных куреневских «куркулей»: огород его можно было измерить ладонями, *полоски шагов в восемь шириной,* у хаты и сарайчика. За забором были грядки коллективного огородного хозяйства. Однажды ночью дед выкопал новые ямки и перенес забор на полметра, украв у огородников метров пять квадратных земли, и равнодушное колхозное начальство этого не заметило! Дед целую неделю был в отличном настроении и торжествовал, строя планы, как через несколько лет он снова подвинет забор на полметра.

К старости он стал страшно вздорный, тайком обрывал соседские груши, свешивавшиеся через забор на «его землю», убивал палкой соседских кур, если они забредали к нам, и потому он перессорился со всей улицей.

Когда он, брызжа слюной, ругался, слышно было до самого базара: «У-ту-ту-ту!» – и его прозвали «Семерик-тру-ту-ту-три-ведра-молока».

Водки дед не пил от скупости, не курил, в кино не ходил, на трамвае старался проехать зайцем, штаны и пиджаки донашивал до того, что они сопревали и расползались на нем. Если по улице ехал воз с сеном и терял клок, дед первым оказывался на мостовой, старательно сгребал палочкой клок и с торжеством нес домой.

Корова не оправдала себя, пришлось продать.

Дед на пробу завел уток, мы с ним ходили на пруд, бултыхались там с драной корзиной, собирая «ряску», чтоб их кормить, да на ряске утки выросли костлявые, мослатые.

Дед переключился на кур: те, мол, ходят, гребутся и сами добывают себе пропитание. Куры с голоду щипали рассаду на грядке, а нестись не хотели. Заводил поросят, чтоб не пропадали объедки и помои. Поросята у деда росли длинноногие, мускулистые, поджарые, как гончие псы. И как раз перед приходом немцев оба поросенка заболели чумкой и сдохли. Пришлось закопать.

Очень энергичный был дед, воевал и толокся целый день с рассвета до темна, но разбогатеть не мог.

[Были вокруг такие, что «жили»: партийцы, чекисты, воры, стукачи, разные профсоюзные деятели. Раскатывали в казенных автомобилях, нежили брюхо на кавказских курортах, получали в конвертах секретные зарплаты. Дед за свое ужасное лазанье по канализационным трубам получал жалованье в месяц вдвое меньшее, чем стоил простой костюм. И за всю жизнь костюма у него не было, он так и умер, не поносив ни разу костюм.

Но были люди, которые смотрели на жизнь дедовой семьи, как на райское благо. В колхозах вокруг Киева крестьяне работали, как при крепостном праве. Нет, хуже. При крепостном праве помещик оставлял им дни для работы на себя, на своем маленьком поле. А в колхозе человек не имел и таких дней, как не имел и поля. За выход на работу ему ставили в ведомости палочку – «трудодень», а осенью что-то платили, а может не платили, а то платили одну копейку за трудодень.]

Так что когда приходил гость, у моего деда была только одна тема для разговора: как в старину было хорошо, и люди были сыты, и богатели, а большевики-босяки все загубили.

Но когда в 1937 году его дружка, старика Жука, арестовали за рассказанный в очереди глупый анекдот*, и этот Жук сразу пропал без вести, как утонул,* дед страшно перепугался, *замкнулся*, и у него осталось только полтемы, то есть как в старину было хорошо.

Я полагаю, что он был так же прав, как и неправ. Это самое «хорошо» – познается лишь в сравнении. И бедному деду моему в 1937 году царская Россия уже казалась справедливым, потерянным раем.

Он почему-то не вспоминал курень своего отца, арендовавшего клок чужой земли, но запомнил, как славно жил генерал, и как он был щедр. Какие при царе были цены: булка стоила пять копеек, селедка две копейки, *а на воблу никто и смотреть не хотел.*

Про свою же ненависть к большевикам он теперь рассказывал только Богу, *подолгу стоя перед иконами на коленях, и все шептал, шептал, страстно рассказывал им что-то: знал, что уж кто-кто, а Бог выслушает – и* не продаст.

И вот вскоре после начала войны на нашу крышу упала немецкая листовка и с утренней росой прилипла там у трубы. Дед увидел, приставил лестницу и послал меня достать. С трудом я снял раскисший листок, и мы стали читать.

В листовке писалось, что Германия призвана уничтожить большевиков и устанавливает новый, справедливый порядок, *когда «кто не работает – тот не ест», зато* «каждый, кто честно трудится, получает по заслугам». Что жизнь на освобожденной земле прекрасна: масло стоит десять копеек фунт, хлеб – семь копеек, селедка – три.

У деда полезли глаза на лоб. Это было послание лично ему.

Он выучил листовку наизусть, только после этого порвал на меленькие клочки. Ему шел семьдесят второй год, и вот его мечта – *с ума сойти!* – возвращалась, *и может на лугу еще будет пастись его корова, дающая три ведра молока, и в доме будет запас еды, на завтрашний день и даже на послезавтрашний день, и может быть он даже купит себе, наконец-то, первый костюм.*

Семерик (в девичестве Долгорук) Марфа Ефимовна, моя бабушка, родилась и выросла в селе Деремезна Обуховского уезда, в проклятущей халупе, где, как и в дедовой семье, некуда было плюнуть из-за детей.

[Детство великого украинского поэта из крепостных Тараса Шевченко прошло в такой халупе:

Не називаю її раем

Моі там сльози пролились,
Найперші сльози. Я не знаю,
Чи е на світі люте зло,
Щоб у тій хаті не жило.]

Их там было так много, бабкиной родни, в Деремезне, и в Перегоновке, и в Киеве «по наймах», что я так никогда и не разобрался, сколько их, кто кем мне приходится: Гапка и Конон, Ганна и Нина, Фома и юродивая Катька… Они иногда приезжали, бабка их кормила, дарила кому старую юбку, кому стоптанные калоши.

Только о юродивой Катьке я понял, что она мне – двоюродная тетка. После тифа она впала в слабоумие, стала нищенкой, она сидела с сумой под церквями, просила по дворам, приносила кусочки хлеба в суме, дед накидывался и отбирал для поросят, бурча: «Подумать только, вот же живут эти нищие, а сколько им на Пасху подают!»

Я любил ее, Катьку, она была, как святая, безобидная и добрая. Если ей подавали конфетку, она ее непременно берегла для меня, а иногда на собранные копейки покупала на базаре мне гостинец – глиняную свистульку-лошадку. Я потом и вырос, а она этого не замечала, приносила свистульки и все что-то невнятно бормотала, бормотала… Умерла она на улице, тихо и незаметно, как погибают воробьи, ее погрузили на телегу и где-то закопали.

Двенадцати лет бабка моя пошла в люди, нянчила чужих детей, была прислугой, потом стала прачкой. Как я ни спрашивал, она никогда не хотела вспоминать ни молодость свою, ни любовь, может, потому, что вспоминалась одна муть.

Она была совершенно неграмотна. Не знала даже цифр. Бумажные деньги она различала по рисунку и цвету, монеты – по величине.

Поскольку мать моя, учительница, работала в школе по две смены да еще оставалась после уроков, я полностью вырос при бабке. Она меня будила, умывала, кормила, лупила,

забавляла украинскими «казочками», и все она топала, варила, мешала, толкла, делала пойло поросенку, гоняла кота, гнулась на грядках, колола дрова, и у нее постоянно болела поясница, так что она время от времени ложилась, тихо стонала, потом поднималась и опять бралась за работу.

Она была мягкая, рыхлая, с грубым деревенским лицом, всегда в сером ветхом платке или косынке в горошек.

Как и деда, ее не восхищали ни самолеты, ни дирижабли, которые тогда летали, наоборот, они ее пугали. Укладывая меня на печи спать, она рассказывала:

– Так, когда я маленькой была, забьемся мы на печку, один к одному лепимся, голенькие, босенькие, голоднючие, как черва, а бабуся наша покойная пугает: вы сидите тихо, это еще хорошо, а придет время, страшное время, когда по земле пойдет враг, и всю землю опутают проволоками, а в небе будут летать железные птицы и клювами своими железными будут клевать людей, и то уже будет перед концом света…

А мы стучим зубенятами от страха и молимся: не приведи, Господи, дожить до того… Не внял Господь, дожили мы. Все так вышло, как предсказывала бабуся: и проволоки, и птицы железные, и скоро, видно, конец света…

Вероятно, в ожидании его бабка совершенно не заботилась о материальном «добре», а очень много раздавала ради спасения души. Может, мы и жили бы чуточку лучше, но бабка могла сама не съесть, а другому отдать. Несла она копейки на церковь, нищим, то вдруг готовила какие-то передачи в больницы, знакомым, соседям.

Дед выходил из себя, вопил: «Злыдни! Кого ты кормишь, мы сами голодные». Но бабка только рукой махала. Пряталась от него, и «злыдни» прятались по всем углам, когда дед с работы являлся. Чтобы не ругаться и не впадать в грех, бабка становилась на колени и молилась.

У нее было много икон. Целый иконостас в углу комнаты, с таинственно теплящейся лампадкой, щепотками ладана, пучками трав, двумя деревянными крестиками – для деда и для нее, чтобы вложить в руки в гробу, – и книжечками-«граматками», куда я под ее диктовку вписывал многочисленные имена родственников «во здравие» и «за упокой».

В центре находилась строгая, измученная, с фанатическим взглядом Богоматерь. Даже младенец у нее походил на маленького сердитого старичка, который говорит: «Нельзя, нельзя!» У них были такие выразительные взгляды, что если долго смотреть – мороз шел по коже. Икона была в футляре под стеклом, с богатым позолоченным окладом: какие-то невиданные цветы с пупырышками, гроздья металлических ягод… И мне ужасно хотелось потрогать эти ягоды, но под стеклом они были недосягаемы. Когда бабка уходила на базар, я подставлял табуретку и готов был часами разглядывать эти ягоды, мечтая, что когда бабка умрет, я-то уж до них доберусь.

Был там ласковый Николай-Угодник с белокурой бородкой, храбрый Георгий-Победоносец, а сбоку стояла еще одна Богоматерь – с золотистыми волосами и нежным, до удивления знакомым лицом. Она улыбалась, и мальчишка у нее на коленях был пухленький, очень довольный жизнью, с ямочками на голом тельце.

И хотя она была без украшений, я в эту икону был по-настоящему влюблен. У нас на Куреневке много таких девушек – белокурых, мягких и нежных. Они идут за первых красавиц; выйдя замуж, рожают вот таких пухленьких детей с ямочками, но, к сожалению, быстро блекнут и старятся. Моей самой первой детской любовью был образ такой женщины с бабкиной иконы, а когда потом, после войны, я уж совсем вырос, я первым делом влюбился в живую именно такую девушку.

Отец мой был революционер и коммунист, мама – учительница. Поэтому, когда я родился, о крещении не могло быть и речи.

Но однажды, когда родители ушли на службу, бабка закутала меня в платок, отнесла в церковь Петра и Павла, и там меня бултыхнули в купель. Бабка не могла допустить, чтобы я остался без рая после смерти. Тайну эту она открыла, лишь когда мне минуло десять лет, и вспоминала, что я протестовал и хватал попа за бороду:

«Вот же вылупок, такое маленькое, а уже заодно с нынешними антихристами…»

Под руководством бабки, однако, я лет до шести был религиозным человеком. Она водила меня в церковь Петра и Павла, причащала, ставила перед иконами, брала мою руку своей коричневой, изъеденной морщинами рукой, учила креститься и произносить магические слова, которых, по-моему, сама не понимала. Потому что вот как у нее звучало и как я выучил на всю жизнь:

– Оченаш жои си на небеси. Да светится имя твое, да прииде царство твое. Я – ко на неби. Та – ко на земли. Хлеб наш насушный даж нам несь. Да не прости нам долги наши, да не избави нас от лукавого…

Бабке, видимо, не было известно, что таинственное «Оченаш» – это «Отче наш». Я же решил, что Оченашем зовут Бога, что это имя светится в темноте, что бабка просит сухарей – «хлеба насущного», и автоматически повторял за ней это «не прости нам» и «не избави».

Но вот заметил это отец, пришел в ужас и велел матери срочно вырвать меня из когтей «религии – опиума для народа». Мама, которой я очень верил, повела со мной беседы и, главное, сказала:

– Бога нет. Летчики летают в небе и никакого Бога не видели.

Это меня потрясло. Я немедленно сообщил бабке этот убийственный довод. Она огорчилась и возразила, что таким безбожникам, как летчики, Бога видеть не дано. Я размышлял и пришел к заключению, что лучше бы Бог показался им, ну, не всем, но хотя бы самым храбрым и знаменитым на весь мир летчикам Чкалову или Байдукову, они бы спустились, рассказали всем, что Бог есть, и споры прекратились бы. Если он есть и сидит там на тучах, так почему он прячется, почему вообще позволяет летать неугодным безбожникам, какой же он всемогущий?

У нас с бабкой начались богословские споры, они ни к чему не привели, она осталась при своем мнении, я при своем, но в церковь за ней шел все неохотнее, а когда в школу пошел, так и вовсе перестал.

Спрашивал деда, но он в божественных вопросах занимал осторожную позицию. Он вспоминал, что когда в 1890 году он батрачил и его призвали в солдаты, он очень молился, чтобы не взяли, все иконы в церкви перецеловал, а все равно взяли. *Опять же таки, двадцать лет молится, чтобы большевиков дьявол забрал, а они все есть.* И довод с летчиками он признавал убедительным, но, когда запутывался в долгах, хотел достать комбикорм, или просто некому было пожаловаться, он подолгу стоял на коленях, бился лбом о пол, подметал его бородой – и убеждал иконы, молил их, канючил, клянчил хоть какую-нибудь удачу.

В отличие от деда, у бабки не было ни единого врага, а по всей улице были только друзья. К ней бежали с бедой, с нуждой, она всем советовала, одалживала, улаживала семейные конфликты, присматривала за грудными детьми, всех лечила травами от желудка, выгоняла глистов.

[Она видела таинственные и непонятные вещи, верила в чудеса, которых советская власть не признает. Я тоже верю в чудеса. Одно я видел.

Мне было лет десять. Бабка поздно вечером вышла во двор, тотчас вернулась и закричала: «Скорее, идите. Бог на небе!»

Мама засмеялась и принципиально не пошла, а мы с дедом побежали. На черном звездном небе светилась людская фигура, похожая на Николая-Угодника. Вернее, она как бы состояла из контуров, прочерченных едва различимыми точками-звездочками. Почему-то меня охватил такой ужас, что я кинулся в сени и спрятался за дверь. Бабка радостно

звала: «Не бойся, иди скорее, перекрестись». Но я только, задыхаясь от ужаса, выглядывал из-за двери, а дед и бабка посредине двора, подняв лица, крестились на небо. Потом видение померкло, они пошли в хату, и весь вечер бабка была просветленная, неземная, а дед – задумчив, крайне озабочен.

Я не знаю до сих пор, что это было, и как объясняется.]

Бабка умела знахарствовать. Очень хорошо она снимала сглаз. Это болезнь без причин, просто потому, что кто-то на тебя посмотрел дурным глазом. В детстве я этому был сильно подвержен.

Вот мне стало нехорошо, поднялся жар, затошнило, заныли суставы… Бабка посмотрела, как я маюсь, налила в чашку святой воды из бутылки, бросила туда угольки из печи, смотрела, какие тонут, какие нет. Угольки показали, что меня сглазили карие глаза. Мы выходим под чистое небо, бабка держит руки на моей голове и что-то шепчет. Я запомнил только из этих формул: «От карих глаз сойди беда, как с гуся вода». И вдруг мне становится хорошо, спокойно, блаженство разливается по телу, болезни как не бывало.

Бабка излечивала малярию-«пропасницу», или еще, как говорят на Украине, «трясцю», излечивала экзему. Только свою поясницу вылечить не могла.

Кузнецова Мария Федоровна, моя мать, была единственной дочкой у деда и бабки, и вот ей-то революция дала много. Быть бы ей прислугой или прачкой, да открылись курсы, она закончила их в 1923 году, стала учительницей первых – четвертых классов, и преподавала она потом всю жизнь.

Была она очень красивой, начитанной, способной, пела и играла в самодеятельности Народного дома, и вот стал дед замечать, что к нему придирается милиция.

Участковый милиционер Вася Кузнецов все приходит да приходит: то улица плохо подметена, то домовой номер надо сменить. Короче говоря, когда Василия избрали членом Киевского горсовета, дед решил, что такой зять вполне подходит: они, горсоветчики, для себя все достанут.

Как же он ошибся!

Это была одна из крупнейших ошибок деда в жизни. Он потом до самой смерти не мог простить зятю того, что он ничего в дом не нес, и даже когда дед ходил в милицию на перерегистрацию подворной книги, ему приходилось сидеть в очереди на прием к своему зятю, как и всем прочим. Василий Кузнецов был большевик.

[И он тогда был честный большевик. Таких, как он, в 1937 году отправляли в лагеря либо на тот свет под их же ошалелые крики «Да здравствует Сталин»!]

Он был настоящий русак, курский, в 1917 году стоял у станка, когда подошел дружок: «Васька, вон записывают в Красную гвардию. Пишемся?» – «Пишемся!» – сказал Василий и пошел.

Он громил буржуев, вступил в партию в 1918 году, партизанил на Украине, стал командиром пулеметчиков и под командой Фрунзе брал Каховку, брал Перекоп и сбрасывал Врангеля в Черное море.

Он казался мне необыкновенным человеком, [и слово его было для меня свято. Однажды мама решила учить меня английскому языку. Мы сидели за столом, когда вошел отец. Посмотрел, как я заучиваю «мазе», «фазе», говорит возмущенно матери: «Это что такое? Буржуйскому языку ребенка учишь? Прекратить!» И прекратили.]

Иногда он очень здорово пел красивым баритоном, хохотал, но почему-то никогда ничего всерьез не рассказывал.

– Ну, как же вы там в Крыму босяковали? – спрашивал дед.

– А что? – смеялся отец. – В Крыму хорошо, вина много. Прогнали Врангеля и буржуев, все винзаводы – открыты. Мы к чанам. Гляжу: один уже плавает в вине по уши, как есть – с

пулеметными лентами и в сапогах. Тут я с братвой поспорил на маузер, что выпью четверть портвейна.

– Три литра? – ахал дед.

– И выпил.

– Ну вот, что от них, *пропойц*, ждать? – плевался дед. – *Пропили Россию.* Ты скажи, что тебе твоя революция дала, голодранцу?

– А меня представили к ордену Красного Знамени, – хвастался отец. – Это были самые первые ордена, только ввели, Фрунзе представили и еще кое-кого. А мы в то время горрячие были, непримиримые. Шумим: «При царе были ордена, а теперь опять эти висюльки*? Может, и погоны введете?* Мы не за висюльки кровь свою проливаем». Я взял и отказался. *Мне комиссар говорит: «Из партии погоним». Я в бутылку: «Пошли вы к такой матери, значит, если вы такая партия». И исключили.*

– Господи! А как же ты сейчас партеец?

– А я потом обратно заявление подал. Восстановили. А орден уже не дали.

– Ох, дурак! – всплескивал руками дед. – Ты б по нему деньги получал. А так что у тебя есть, одни единственные штаны милицейские.

Отец, действительно, вышел из гражданской войны гол, как сокол. [Демобилизовав, его направили в Киев, служить в милиции. По пути в поезде он крепко выпил и сел играть в очко. Не доезжая километров сто до Киева, он проиграл все, проиграл свою командирскую форму и остался в одних кальсонах. Сердобольный дежурный на каком-то полустанке пожертвовал ему ветхое тряпье с лаптями в котором бывший командир пулеметчиков и предстал перед начальством в Киеве. Ему выдали форму, и начал Василий бороться против спекуляции и за чистоту улиц.]

Мама и бабка любили его, заботились наперебой, у них он скоро отъелся, похорошел, и наконец общими силами справили ему первый костюм, которым дед его при всяком удобном случае попрекал.

У отца было два класса приходской школы образования. Он пошел на рабфак, закончил его вечерами, бросил милицию и поступил в Политехнический институт.

Ночами он сидел над чертежами. Его надолго оторвали – послали под Умань проводить коллективизацию. *Мама ездила к нему и возвращалась в ужасе.* Потом он защищал диплом и взял меня на эту защиту. Когда он кончил, ему аплодировали. Он стал инженером-литейщиком.

Тут они стали срезаться с дедом всерьез. Отец гремел:

– Зарываешься, тесть, бузу мелешь, оскорбляешь революцию! Ты посмотри: твоя дочка выучилась, зять выучился, работа есть, спекуляции нет, конкуренции, обмана, а то ли еще будет.

– Ты разу-умный, – ехидничал дед. – А ты позволь мне десять коров держать и луг дай под выпас.

– Луг колхозный. Любишь коров – иди в колхоз.

– Да-да! Сам иди в свои *каторжные* колхозы!

К этому времени вовсю пошли и нелады отца с матерью. Там была другая причина – ревность. Мама была очень ревнивая. Я тогда ничего не понимал, ощущал только, что характеры у папы и мамы ого-го. В доме начались сплошные споры да слезы.

И вдруг я от бабки узнал, что отец с матерью уже давно съездили в суд и развелись, только расстаться никак не могут. Наконец, отец взял под мышку свои чертежи и уехал работать на Горьковский автозавод, где вскоре женился.

[Это случилось как раз в 1937 году, и я много думал потом, почему моего отца, такого непримиримого, миновала чаша та. Член партии в те времена мог избежать ее только двумя путями: либо молчать, либо доносить на других. А отец вдруг стал на ГАЗе начальником

литейного цеха, получил квартиру, машину… Но это из писем. Такого отца я уже не знал.] Мама [запрещала с ним переписываться, но] продолжала любить его всю жизнь и никогда больше замуж не вышла.

Когда началась война и стало ясно, что немцы войдут в Киев, мать, однако, послала отцу несколько отчаянных телеграмм, чтобы он принял нас. Но ответа на них не пришло.

Мать истерически плакала по ночам. Бабка утешала:

– Да ничого, ничого, Маруся, проживем *и при немцах*.

– Что я буду делать при немцах? – говорила мать. – Учить детей славить Гитлера? *То учила славить Сталина – то Гитлера?* Возьму Толика и поеду, будь что будет.

– Мы ж без тебя пропадем… – плакала бабка. Это верно, вся семья держалась на маминой зарплате. Она была гордая, не хотела подавать на алименты на отца, лишь незадолго перед войной дед ее все-таки донял, и нам стали приходить переводы из бухгалтерии ГАЗа, война их оборвала.

Мама вела два класса в обычной школе, но часто ей удавалось подрабатывать еще и в вечерней для взрослых. Ей разрешали, потому что она была старательной, талантливой учительницей. [Много раз ее собирались наградить, но никогда даже самой крохотной премии ей не дали, как беспартийной. Только на словах хвалили да подгоняли. Знакомые же ее учительницы, вступившие в партию, и на курорт бесплатно ездили, и орденами сверкали. Иная уде такая бездарь, бревно-бревном, класс развалила, ничему детей научить не может – а ее в депутаты, в президиумы… А класс отдают матери, чтоб восстановила, и мать сидит дни напролет с детьми, сидит ночи над тетрадями. Но в партию она не пошла, для нее это было просто дико.

Детям она отдала всю жизнь, а к себе относилась, как монахиня.] Иногда ее ученики-вечерники, взрослые усатые дяди, рабочие, приходили к нам женихаться. Дед их очень любил, потому что они приносили колбасу, консервы, выпивку, он с ними толковал, заказывал достать гвоздей или белил, а мама сердито сидела минуту-другую и уходила спать. Женихи скисали и исчезали.

Последнее время мать дежурила в пустой школе возле телефона – на случай воздушных тревог, зажигательных бомб. Учителей в организованном порядке не эвакуировали, мы сидели на чемоданах, но уехать так и не смогли, и мать встретила немцев с ужасом, не ожидая ничего хорошего.

Кот Тит – мой верный друг и товарищ, с которым прошло все мое детство. Я подумал и решил, что погрешу против правды, если не упомяну и его как члена нашей семьи. По крайней мере для меня он таковым был всегда, и он сыграл в моей жизни немаловажную роль, о чем будет сказано дальше.

Кот Тит был старый, душевно ласковый, но внешне весьма сдержанный и серьезный. Фамильярностей не любил и очень чутко различал, кто к нему относится действительно хорошо, а кто только сюсюкает и подлизывается.

Бабка его любила, а дед ненавидел лютой ненавистью – за то, что он дармоед.

Однажды дед посадил Тита за пазуху и повез в трамвае на четырнадцатую линию Пущи-Водицы, это примерно пятнадцать километров, и все лесом. Он выпустил его там, в лесу, и пугнул.

Тит явился домой через неделю, очень голодный, запуганный и несчастный.

Дед пришел в ярость, посадил Тита в мешок, повез через весь город на Демиевку и выкинул там в Голосеевском лесу.

Оттуда Тит явился только через три месяца, с оторванным ухом, перебитой лапой – ему ведь пришлось идти через весь огромный город. Но после этого озадаченный дед оставил его в покое.

Когда потом мне попалась потрясающая повесть Сетона-Томпсона о кошке, которая через города и реки упрямо идет к тому мусорному ящику, где когда-то родилась, я верил каждому слову. *Кошки умеют это.*

Наш Тит, хотя и приучился прятаться от фашистских самолетов в окопе, все же в политике не разбирался совершенно. Он был, так сказать, самым аполитичным из всех нас, а напрасно, потому что новая жизнь существенно касалась и его.

Вот такими мы были к приходу фашизма и вообще к приходу войны: незначительные, невоеннообязанные, старики, женщина, пацаненок, то есть те, кому меньше всего нужна война и которым, как назло, как раз больше всего в ней достается.

Но ни в коем случае я не собираюсь дальше показывать: вот, мол, смотрите, как от войны страдают женщины, дети и старики. Хотя бы потому, что доказывать это никому не нужно. Конечно, я рассказываю много личного, но меньше всего, – подчеркиваю, – меньше всего здесь ставится цель рассказывать о всяких личных передрягах.

Эта книга – совсем о другом.

– Что это за медали? – спросил дед, разглядывая газету.

Целую полосу занимала «Борьба украинского народа» – исторический обзор с портретами-медальонами князя Святослава, княгини Ольги, Владимира Крестителя, Богдана Хмельницкого, Мазепы, Шевченко, Леси Украинки и Симона Петлюры.

[Сочетание было невероятное, на что я, мальчишка, и то вытаращил глаза. Святослав, Ольга и Владимир – основатели Руси, тогда не было Украины и России, а просто Киевская Русь. Ладно, тут все в порядке. Святые предки у украинцев и русских общие.

Но дальше… Хмельницкий Украину к России присоединил.

Мазепа хотел оторвать. Тарас Шевченко и Леся Украинка – поэты, которых превозносила советская власть.

А Петлюра боролся в революцию за независимую Украину, и всех петлюровцев постреляли и сгноили в советских лагерях.]

– И Богдан у них великий? – удивился дед.

– Да.

– Чудно! Мазепа… Петлюра… – Дед озадаченно погладил бороду. – Насчет того черта не знаю, давно было, при Петре Первом, а Петлюру сам видел – и паразит, и горлохват. Что они только тут творили!..

Мать в другой комнате перешивала мне пальто к зиме. Она вышла, глянула в газету.

– Не верю я ничему, – пробормотала она. – Кошмар какой-то. *Не было хороших царей. Убивали все от Святослава до Сталина.*

– Про Сталина забудь, дурная! – весело сказал дед. – И ныне, и присно, и во веки веков. *Будет хороший царь.*

– Нет, – сказала мать. – Может где-нибудь на Мадагаскаре, в Америке, в Австралии, только не в России. В России – нет.

Я принялся читать подробности возрождения церкви на Холмщине и бурного роста искусства в Житомире. Дед выслушал с большим удовольствием, солидно кивая головой.

– Очень хорошо, – сказал он. – Немцы знают, что делают. Вот послушай: когда я был молодой и работал у немецких колонистов, я уже тогда понял, что немцы – это хозяева. Они работу любят, а ленивых ненавидят: что ты заработал, то и получай. А воровства у них нет: уходят из дому, дверь палочкой подопрут – и никаких замков. А если, случись, поймают вора – так уж бьют его, бьют, пока не убьют. Вот теперь ты сам посмотришь, какая будет справедливая жизнь. Рай на земле!

– Ничего не будет, – сказала мама как-то странно. – И большевики еще вернутся.

Мы не стали с ней спорить, потому что знали, о чем она думает, только не говорит: что, может, вернется когда-нибудь отец, которого она любит и будет любить до самой смерти.

– Ах, ты счастливый, – сказал дед. – К нам с бабкой вот только на старости пришла новая жизнь. Маруся ничего не понимает. А ты счастливый, ты молодой, *ты еще так поживешь!*

Я подумал: вот черт возьми! Я ведь в самом деле молодой, и *сразу так повезло:* вот пришли хозяева-немцы, даже воров и замков не будет. И от предчувствия грядущего счастья стало мне тревожно и удивительно.

– Ладно, шут с ним, пускай хоть Петлюра, *хоть* черт, *хоть дьявол с рогами висит у них иконой,* – с внезапной ненавистью сказал дед, – лишь бы не *тот Сталинюга, сапожник проклятый, грузин недорезанный, убийца усатый с его босячней! Боже, Боже, такую страну довести до разорения. За несчастным ситцем тысячи душатся в очередях, да я при царе последний батрак был, а этого ситцу мог штуками покупать.*

– Що старэ, що малэ… – вздохнула бабка у печи. – Много ты его напокупал?

– Мог! Мог купить. Потому что он был. Все было! Я батрак, а ты прачка – а мы, себе дом построили. Попробуй сейчас построй. *Раньше, бывало, один муж в семье работает, семья семь душ, он один кормит всех. А при этих большевиках и муж работает, и жена работает, и дети работают, и все равно не хватает. Это для того царя скинули?*

– При царе было плохо! – воскликнул я.

– Да, вас теперь так в школах учат. А ты видел?

– Царь людей в тюрьмы сажал и в ссылки ссылал.

– Дурачок ты, дурачок, – сказал дед. – Людей сажают и ссылают во все времена. Ленин больше народу загубил, чем все цари до него. А уж того, что Сталин натворил – никаким царям, никаким кровопивцам не снилось. Были у нас и Грозные, и Петры, да такого Сталина Бог, видно, перед концом света на нас послал. Дожились до того, что самой тени своей боишься. Одни стукачи кругом, слова не скажи. Только одну «славу партии» можно кричать. Да милиция тебе штраф влепит, если флаг на ворота не прицепишь на их праздник да на их проклятущие выборы. С утра, чуть свет – уже тарабанят в окна: «К шести часам на выборы, все как один, всенародный праздник, стопроцентное голосование!» Ах, чтоб вы подавились моим голосованием!

Сами себя выставляют, сами себя назначают, сами меж собой делят – а мне говорят, что это я их выбрал! Это ж кракамедия сплошная. Кто живет при советской власти? Кто горластый подлец. Разевает пасть: «Наш великий, гениальный, мудрый вождь, солнце ясное в небе, наша родная партия, под водительством!» Тра-та-та! За это и получает, и жрет, злыдень. Развели одних паразитов. Один работает, трое присматривают, шестеро караулят. Да жрут, как гусенъ, да в автомобилях разъезжают. Буржуев свергли – сами буржуями похлеще заделались. Благодетели!..

– От язык без костей, – испуганно сжалась бабка у печки. – Шо ты кричишь, на всю улицу слышно!

– Вот? Я ж говорю: мы привыкли уже только шепотом говорить. Пусть слышно! Я хочу хоть перед смертью вголос поговорить. Нет их власти больше, нету их ГПУ, драпанули распроклятые энкаведисты. Чтоб он сдох, тот Сталин! Чтоб она сдохла, их партия! Вот! И никто меня больше не арестует. Это ж я при проклятых буржуях последний раз мог вголос говорить. Двадцать лет как воды в рот набрали. Добрые люди, пусть лучше Гитлер, пусть царь, пусть буржуи, турки, только не те а-ди-о-ты, бандиты с большой дороги!

– Да, турки много тебе добра дадут… И при буржуях много ты его видел, – вздохнула бабка. – Забыл уже про батыгов курень? Тебе советская власть пенсию дала, хоть бы за то спасибо сказал. А буржуи бы тебе дулю дали.

– Буржуй – сволочь! – закричал дед («Ну, началось, – подумал я, – теперь опять до вечера скандал».) – Буржуй – сволочь, но он хоть дело знал. *Большевики буржуев постреляли – а сами что развели? Несчастная Россия, не было в ней добра – и не будет с такими босяцкими порядками. И сами мы, видать, того стоим. Быдло мы, батогом нами управлять.* Вот нам немцы нужны, пусть нас поучат. Эти кракамедиями заниматься не станут. Хочешь честно работать? Работай. Не хочешь – иди к растакой матери. *А этих, которые языком чесать привыкли да жопу Сталину лизать – этих немцы в два счета выведут… Господи, слава тебе за то, что живыми пережили мы твое испытание, эту большевистскую чуму!..* А ну, сынок, читай, что там еще пишут?

Я покопался в газете и нашел объявление, подтверждающее слова деда. В нем говорилось, что «некоторые безработные мужчины, от 16 до 55 лет, УКЛОНЯЮТСЯ ОТ РАБОТЫ». Им предлагалось немедленно явиться на регистрацию.

– Ага. Вот! – с торжеством сказал дед, поднимая палец.

От автора

Ребята рождения сороковых, пятидесятых и далее годов, не видевшие всего этого и не пережившие.

Для вас, естественно, то, что я рассказываю, – чистой воды история.

Вы не любите сухую школьную историю. И я ее не люблю. Иногда она кажется *скоплением царств,* дат, *идиотских битв, которыми я зачем-то должен восхищаться*. Да еще – книжных ужасов, *подлости на подлости, глупости на юродстве, так что становится стыдно: и это-то есть история цивилизации?*

Иные занятные старики не устают твердить о том, что ваше счастье в том, что ваша юность пришлась на мирное время. Что ужасы войн существуют для вас только в книгах. Вы слушаете и не слушаете. *Говорите: надоело. Говорите: а пошли вы с вашими войнами, с вашим хаосом в мире, который вы же натворили и в котором сами не можете разобраться, – а пошли вы, к чертовой матери.*

Хорошо сказано. Вас понял.

Ну, а если я [из своего слухового окошка каркну] вам: «Осторожно!» – вы меня поймете? [Выдвигаю антенны, перехожу на прием.

Слышу много музыки, слышу пенье, звон разбиваемых бутылок и стекол, рев мотоцикла, и вдруг хором скандируемое «Мао». Вежливый голос полицейского: он просит хиппи подвинуться, у фонтана на Пикадилли идет уборка.]

Все – таки как это хорошо: плевать на всю и всяческую политику, танцевать, любить, *пить вино, спать, дышать. Жить. О, дай вам Бог!*

Только [из своего слухового окошка смотрю я и вижу, как, пока одни любят и спят, другие деятельно штампуют для них наручники. Зачем? А вот это вопрос. В мире такая пропасть благодетелей. И все хотят непременно облагодетельствовать целый мир. Никак не меньше. Для этого нужно немного: мир должен уложиться в схему, которая Бог весть как формируется в их малосильных, измученных комплексами мозгах.

Они не плюют на политику, они ее делают. Строгают свою дубину. Потом опускают дубину на чужие головы, проводя таким образом свою политику в жизнь.

Осторожно, люди!]

На основании своего, чужого, всеобщего опыта, на основании многих мыслей, поисков, тревог и расчетов говорю вам: ГОРЕ СЕГОДНЯ ТОМУ, КТО ЗАБЫВАЕТ О ПОЛИТИКЕ.

Я не сказал, что люблю ее. Я ее ненавижу. Презираю. Не призываю вас любить ее или уважать. Только говорю вам:

НЕ ЗАБУДЬТЕ.

Если вы уже взяли в руки эту книгу, и у вас хватило терпения дочитать до этих строк, я вас поздравляю, и я вас попрошу: пожалуйста, в таком случае не бросайте ее и дочитайте до конца.

Ведь я вам предлагаю все-таки не обычный роман. Это документ, точная картина того, что было. А представьте себе, что, родись вы на одно историческое мгновение раньше, – и это уже была бы ваша жизнь, *а не книжное чтиво. Судьба играет нами, как хочет, – малыми микробами, ползающими по земному шару.* Вы могли быть мною, родиться в Киеве, на Куреневке, а я вот в этот момент мог быть вами и читать эту страницу.

Я приглашаю вас: войдите в мою судьбу, вообразите, что вы живете в моей оболочке, и другой у вас нет, и вам двенадцать лет, а в мире идет война, и неизвестно, что будет дальше. Только что вы держали в руках газету с объявлением об уклоняющихся от работы. Только что. Сейчас.

Теперь пойдем на улицу. Над цитаделью развевается немецкое военное знамя. *Советской власти нет*. Теплый осенний день, *хорошая погода.*

К вопросу о рае на земле

Нам предстоял далекий путь, через весь город, на Звери́нец, и потому бабка положила в кошелку хлеба, яблок, две бутылки воды.

Кирилловская улица была усыпана соломой, бумагами, конским навозом: никто не убирал. Все витрины разбиты, стекло хрустело под ногами. Кое-где бабы стояли в открытых окнах и смывали крестообразные бумажки.

Из ручья, вытекающего из Бабьего Яра, толпа брала воду. Черпали кружками, стаканами, наливали в ведра. Воды в водопроводе не было, поэтому весь город потянулся с разной посудой к ручьям, к Днепру, подставляли тазы и бочки под водосточные трубы, чтобы собирать дождевую воду.

На рельсах стоял трамвай – там, где его застало отключение тока. Я вскочил внутрь, бегал среди сидений, занял место вагоновода и стал крутить ручки, звякать. Красотища: весь трамвай твой, делай с ним, что хочешь. Лампочки в нем уже повывинчивали и начали вынимать стекла.

Брошенные трамваи стояли по всей линии и иные не только без стекол, но уже и без сидений.

На заборах еще висели советские плакаты с карикатурами на Гитлера, но в одном месте они были заклеены немецкими. На черном листе желтыми штрихами были нарисованы картинки счастливой жизни, которая теперь будет: упитанные чубатые мужики в казацких шароварах пахали волами землю, потом размашисто сеяли из лукошка. Они весело жали хлеб серпами, молотили его тоже вручную – цепами, а на последней картинке всей семьей обедали под портретом Гитлера, украшенном рушниками.

И вдруг я рядом прочел такое, что не поверил своим глазам:

«ЖИДЫ, ЛЯХИ И МОСКАЛИ – НАИЛЮТЕЙШИЕ ВРАГИ УКРАИНЫ!»

У этого плаката впервые в жизни я задумался: кто я такой? Мать моя – украинка, отец – русский. Наполовину украинец, наполовину «москаль», я, значит, враг сам себе.

Дальше – хуже. Мои лучшие друзья были: Шурка Маца – наполовину еврей, то есть жид, и Болик Каминский – наполовину поляк, то есть лях. Сплошная чертовщина. Немедленно сообщил бабке.

– Не обращай внимания, сынок, – сказала она. – То дураки написали.

Допустим, дураки. Но не написали, а напечатали. Зачем такой бред печатать и расклеивать по заборам?

На Подоле улицы кишели озабоченными, занятыми людьми – все тащили вещи, шныряли с мешками. Старик и старуха, надрываясь, волокли зеркальный шкаф. Ехал ломовик с испитым лицом, вез ослепительный концертный рояль. И тут все магазины, парикмахерские, сберкассы разбиты, усыпаны стеклом.

Немцы ходили компаниями и поодиночке, тоже носили разное барахло. Они никого не трогали, и на них не обращали внимания. Каждый грабил сам по себе, все были заняты делом: *этакий всегородской передел имущества.*

Чем ближе к Крещатику, тем больше попадалось офицеров. Они ходили четко, чеканя шаг, с высоко поднятой головой, все они были в фуражках, расшитых серебром и надвинутых на самые брови.

Висели красные немецкие флаги. *Они были потрясающе похожи на советские, если их не развевал ветер. На советских красных флагах – серп и молот. На немецких красных флагах – свастика. Что-то меня озадачили эти красные фашистские флаги.*

Иногда рядом с красным свисал украинский флаг националистов – жовтоблакитный, то есть из желтой и голубой полос. *Желтое – это пшеница, голубое – небо. Хороший, мирный флаг.*

День был прекрасный. Осень, желтели каштаны, грело солнце. Бабка размеренно шла и шла себе, а я носился по сторонам, как борзой щенок. И так мы миновали Крещатик, где дядьки тащили ряды кресел из кинотеатра, поднялись на Печерск, забитый войсками. И вдруг перед нами открылась Лавра.

[Киево – Печерская Лавра – великая историческая святыня. Почти тысячу лет назад, после крещения Руси, первые монахи, удалясь из города, выкопали в Днепровских склонах пещерный монастырь. Он стал оплотом христианства, а с ним культуры.]

Теперь Киево-Печерская Лавра – это целый город, обнесенный древними стенами с бойницами, город фантастический: церкви, купола, белоснежные дома причудливой архитектуры, белоснежная колокольня, самая высокая на Руси, и все это утопало в буйной зелени…

Я успел ее узнать и полюбить, потому что в нее собрали все главные музеи Киева.

Лавра стала называться «Музейный городок».

Там – страшные лабиринты пещер с мощами в гробах под стеклом, туда водили экскурсии при свете сперва свечей, а потом проведенных тусклых электрических лампочек. В одном гробу под стеклом лежит Нестор-летописец, автор «Повести временных лет», благодаря которой мы и знаем свою историю.

В центре Лавры – Успенский собор XI века, и у его стены – могила Кочубея, казненного Мазепой. Когда-то над нею стоял Пушкин и списывал стихи, отлитые старинной вязью на чугунной плите, и с этого началась его «Полтава». Там похоронен даже основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.

Мы с бабкой сели в траву и стали смотреть. Церкви, стены, купола – все это так и сверкало под солнцем, выглядело таким красивым, необычным. Мы долго, долго молча сидели. И мир был у меня в душе.

Потом бабка сказала:

– Не доверяй, сынок, людям, которые носят фуражку на самые глаза.

– Почему?

– Это злые люди.

– Почему?

– Я не знаю. Меня мать так учила.

– Это ты говоришь про немцев?

– И про немцев, и про русских, про всех. Вспомни разных бандюг, милицию, энкаведешников, как они картузы носят… Я этих немцев сегодня как насмотрелась, так сердце упало: враги! Враги, дитя мое. Идет горе.

У бабки слово «враг» было очень емкое: и болезнь приключалась потому, что в человека забирался враг, и антихриста обозначало оно: «пойдет по земле враг».

– Дед говорит: «рай на земле».

– Не слушай его, старого балабона. Рай на небе – у Бога. На земле его никогда не было. И не будет. Сколько уж тех раев людям сулили, все кому не лень, – все рай обещают. А несчастный человек как бился в поте лица за кусок хлеба, так и бьется. А ему всё рай обещают… Твой дед селедку да ситец помнит, а как я по чужим людям за пятнадцать копеек в день стирала от темна до темна, – он это помнит? А ты спроси у него, как его петлюровцы расстреливали в Пуще-Водице. Да что там говорить, не видела я на земле добра. Вон там – рай.

Она кивнула на Лавру и стала бормотать молитву. Мне стало тревожно, не по себе. Я-то ведь давно был безбожником, и учился в советской школе, и знал точно, что и того, бабкиного, рая нет.

Дело на Зверинце у нас было следующее.

Там бабкина племянница, тетя Оля, и ее муж перед самой войной выстроили себе домик. Они работали на заводе «Арсенал» – и теперь эвакуировались вместе с ним. Уезжая, пустили в дом одинокую женщину по имени Маруся, чтобы жила и присматривала за домом. Но все документы и доверенность оставили бабке, чтобы она время от времени наведывалась и убеждалась, все ли в порядке.

Домишко не сгорел, не был разграблен, и все было в порядке. Маруся встретила нас хорошо. У нее сидел веселый, смуглый и небритый дядька, которого она отрекомендовала своим новым мужем. Бабка тут же расцеловала ее и поздравила.

Сосед Грабарев из-за забора окликнул бабку. Она ахнула:

– А вы почему тут?

– Да вот такая глупость вышла, – сказал Грабарев. – Я ведь, Марфа Ефимовна, вывозил «Арсенал», уехал на Урал, жду семью, шлю телеграммы, *а тут паника, вокзалы бомбят,* они никак не могут выехать. Тогда я все бросил, примчался сюда – а они только что эвакуировались. Я бросаюсь обратно – а Киев уже окружен. Вот они уехали, а я застрял.

Был он грустный, ссутулившийся и постаревший. Я отметил, что у него фуражка сидит на затылке, и мне стало его жаль.

– О Господи, – сказала бабка, – но вы же – коммунист!

– А что вы думаете, из-за этого окружения мало коммунистов в Киеве осталось? Да и какой я там коммунист… *Вступал в партию, как все, чтобы, прожить.* Числился да взносы платил. Летом меня ведь исключали, вы разве не слышали? Только до конца не довели: война приостановила. Ну, теперь, раз я остался в оккупации – точно исключили.

Бабка сочувственно покачала головой.

– Что ж вы делать будете?

– Работать. Столярничать.

Он насыпал полный картуз яблок и передал мне через забор.

Мы остались ночевать. Мне хорошо спалось на новом месте, но среди ночи меня разбудила бабка:

– Сынок, проснись, сынок! – тормошила она. – Переберись под кровать.

Пол и стекла дрожали от стрельбы, отвратительно завывали самолеты. Мы с бабкой залезли под кровать, где уже лежало одеяло (ну, предусмотрительная же бабка!) и прижались друг к дружке.

Это бомбили уже советские самолеты, и в кромешной тьме взрывы бомб казались особенно близкими и мощными. Кровать так и ходила ходуном, и весь домик пошатывало, как при землетрясении. *Бомбили не нас, а железнодорожный мост через Днепр у Лавры, но, боюсь, в темноте они сыпали бомбы куда попало.*

– Оченаш, жои си на небеси… – страстно шептала бабка и толкала меня. – Молись! Молись! Бог нас спасет.

Я стал бормотать:

– Да прииде царство твое. Я – ко на неби. Та – ко на земли. Хлеб наш насушный…

Утром Маруся сказала бабке:

– Я вас очень уважаю, Марфа Ефимовна, но только вы сюда больше не ходите. Этот дом будет наш с мужем. Советы не вернутся, а вам он не нужен, мы его запишем на себя.

Бабка всплеснула руками.

– Так сейчас все делают, – объяснила Маруся. – Дома эвакуированных берут себе, которые нуждающие. Тем более, что это дом коммуниста, паразита. Кончилось их время! Доверенность вашу мне не показывайте, она советская, недействительная. И не забывайте, что вы сами – родственница коммуниста.

Вышел небритый веселый ее муж, стал в дверях, уперев руки в бока, поигрывая мускулами. Бабка и про совесть упоминала, и про Бога, и что она пойдет жаловаться – он только, забавляясь, усмехался.

Обратный путь наш был унылым. Бабка шла, как оплеванная.

У начала Крещатика нас вдруг остановил патруль.

– Юда? – спросил солдат у бабки. – Пашапорт! Бабка испуганно полезла за пазуху доставать паспорт. Рядом проверяли документы у какого-то старичка.

– Да, я еврей, – тоненьким голосом сказал он.

– Ком! – коротко приказал немец, и старичка повели.

– Я украинка, украинка! – испуганно заговорила бабка.

Солдат просмотрел паспорт, отдал и отвернулся. Мы скорее кинулись вниз по Владимирскому спуску на Подол. Тетка сказала бабке:

– Утром видели, как по улице бежала девушка-еврейка, выстрелила из пистолета, убила двух офицеров, а потом застрелилась сама. И они стали евреев вылавливать. Говорят, их проверяют и гонят разбирать баррикады… Господи, то их строили, то теперь разбирать, а все жителям, ходят по дворам, всех молодых на разборку выгоняют…

У афишной тумбы стояла кучка людей, читая объявления. Я немедленно протолкался. Это были первые приказы комендатуры. Привожу их содержание по памяти.

ПЕРВЫЙ. Все вещи, взятые в магазинах, учреждениях и пустых квартирах, должны быть не позднее завтрашнего утра возвращены на место. Кто не выполнит этого приказа и оставит себе хоть малый пустяк, будет РАССТРЕЛЯН.

ВТОРОЙ. Все население обязано сдать излишки продовольствия. Разрешается оставить себе запас только на двадцать четыре часа. Кто не выполнит этого приказа, будет РАССТРЕЛЯН.

ТРЕТИЙ. Все население обязано сдать имеющееся оружие, боеприпасы, военное снаряжение и радиоприемники. Оружие и радиоприемники надлежит доставить в комендатуру на Крещатике, военное снаряжение – на Крещатик, дом 27. Кто не выполнит этого приказа, будет РАССТРЕЛЯН.

Волосы у меня поднялись дыбом; побледнев, я отошел. Я вспомнил про свои награбленные щетки, гири, лампу, пуговицы…

Только сейчас я обратил внимание, что на улицах совершенно нет грабителей, только кучки людей читают приказы и быстро расходятся.

Мы с бабкой пришли домой крайне встревоженные. Мама сложила кучкой мое награбленное добро и коротко велела:

– Неси.

– Не надо хоть гири! – завопил дед. – У нас есть весы, пусть докажут, что это не наши гири, на них не написано, что они из магазина! А пуговицы я выкину в уборную.

В общем, меня заставили вернуть только лампу и щетки, поскольку вся улица видела, как я их нес. Страшно и стыдно мне было идти к базару. Еще никто ничего не сносил, я оказался первым. И я долго выжидал, пока поблизости не будет прохожих. Выбрав такой момент, сунул лампу в витрину, зашвырнул щетки – и ходу.

Дома все озабоченно обсуждали, что делать с продуктами. Учитывали торбочки с горохом, гречку, сухари – их было недели на полторы, и дед был готов на казнь, только бы не сдавать.

– Это они пугают! – жалобно кричал дед. – Это пусть такие, как Шатковский, что грабили масло бочками, возвращают! Мы сначала поглядим.

Вечером меня послали поглядеть. Магазины были такие же разбитые и пустые. В витрине не было уже моей лампы, не было и щеток.

Никто ничего не вернул и не сдал. Но на всякий случай дед спрятал продукты в сарае под сено. Узлы и чемоданы были в окопе под землей. Оружия и приемника у нас сроду не было.

Пришли двое солдат на другой день. Мы так и затряслись. Но они походили по дому, взяли старый бабкин платок и ушли, не сказав ни слова. Мы ошарашено смотрели им вслед: никак не могли привыкнуть. Бабка сказала:

– И правда, замки не нужны, можно палочкой подпирать… Уж и три дня прошло, а они все грабят.

– Значит, продлили на пять, – не сдавался дед. – Киев – большой город, столица, его разграбить не так легко, вот им и дали пять дней. Помянете мое слово, двадцать четвертого числа все кончится.

Он очень ошибался.

Двадцать четвертого сентября все только и началось.

Крещатик

19 сентября 1941 года германские войска входили на Крещатик с двух сторон.

Одна колонна шла с Подола – это были те, которых встречали еще на Куреневке, бравые, веселые, на автомобилях. Другая входила с противоположной стороны, через Бессарабку, эти были на мотоциклах, прямо с поля боя, закопченные, и шли они тучей, захватывая тротуары, наполнив весь Крещатик треском и бензиновым дымом.

Это походило на колоссальный и неорганизованный военный парад, полный задержек, путаницы и бестолковщины. *Из подъездов смотрели жители, зеваки сбегались отовсюду, некоторые охотно помогали отодвигать противотанковые ежи или соскабливали со стен советские плакаты.*

Очевидно, по заранее намеченному плану войска стали занимать пустые здания Крещатика. Дело в том, что там было больше учреждений и магазинов, чем квартир. Из квартир же почти поголовно все жители эвакуировались. *На этой центральной улице Киева жили сплошь партийные работники, чекисты, известные актеры, и они все, конечно, уехали. Крещатик был пуст.*

Комендатура облюбовала себе дом на углу Крещатика и улицы Прорезной, где на первом этаже был известный магазин «Детский мир». Немецкий штаб занял огромную гостиницу «Континенталь». Дом врача превратился в Дом немецких офицеров.

Все было продуманно, четко организовано в самое короткое время: прямо на тротуарах ставились движки с динамо-машинами, дававшими ток, воду привозили из Днепра цистернами.

Это выглядело как энергичное и деловитое новоселье шумно прибывших гостей, прибывших не гулять, а действовать, и город выжидательно смотрел на них.

Грабеж Крещатика из-за этих войск начался не сразу, а позднее, а именно ночью, когда стало ясно, что войска заняты лишь своим устройством. После того, как первые осторожные грабители потянули из-под носа у немцев полные мешки, на Крещатик побежали люди со всего города.

К утру все витрины были уже выбиты, по Крещатику метались фигуры, тащившие рулоны ковров и стопы сервизов, связки ученических портфелей и занавеси из театров. Среди них орудовали немцы. С грозным криком и подзатыльниками они разгоняли грабителей и лезли грабить сами. Как в разворошенном муравейнике – каждый что-нибудь куда-нибудь тащил.

После обеда вдруг ожил Бессарабский рынок: первые торговки вынесли горячие пироги с горохом и вареную картошку, справедливо полагая, что грабящие проголодались. Они сами толком не знали, какую спрашивать цену: давай пачку махорки и наедайся «от пуза».

Открылись две парикмахерские. Расчет предприимчивых евреев-парикмахеров был точный: к ним повалили немецкие офицеры.

Все это происходило так весело, чуть ли не празднично, и солнышко светило, подогревая хорошее настроение.

Ключи от запертых квартир *сбежавших партийцев и бюрократов* хранились в домоуправлениях. Немцы вместе с домоуправами или дворниками пошли по квартирам, вскрывали их, занимали или брали все, что им нравилось.

Тут – то эти домоуправы и дворники, разные сторожа и лифтеры кинулись «прибарахлятъся». Они захватывали квартиры по пять-шесть комнат, принадлежавшие каким-нибудь секретарям горкома, полные невиданных, сказочных вещей (особенно если учесть, что еще

недавно этот дворник за двумя метрами ситцу дрался два дня в очереди!). В эти свои новые квартиры они стаскивали барахло со всех этажей, превращая их в подлинные склады. Рассказывали, что один дворник, переселясь из подвала в бельэтаж, натащил к себе двенадцать роялей, ставя их в два этажа один на другой.

Никто ничего этого не вернул, когда появились приказы комендатуры. *Это было как бы немыслимо. За свои двенадцать роялей ошалевший дворник, возможно, пошел бы под расстрел, но вот так, своими руками, взять и вернуть, он просто не мог. Не мог!*

Но *ненавистное* оружие и *опасные* радиоприемники – понесли. Возможно, кто-то первый понес, и все, испугавшись, понесли. Особенно много несли противогазов. Отнес противогаз – и как бы уже частично выполнил приказы. Их сбрасывали в кучу в помещении кафе-кондитерской напротив комендатуры, в доме 27 по Крещатику, и вскоре горы противогазов забили кафе до потолка.

Первыми созвали (найдя списки и адреса в отделе кадров) работников киевского радио. Радиокомитет со студией был на углу Крещатика и Институтской улицы. Только что назначенный немец-шеф вышел на эстраду, оглядел собравшихся в зале и начал очень необычно:

– Евреи, встать!

В зале наступила мертвая тишина. Никто не поднялся, только пошевеливались головы.

– Евреи, встать!! – повторил шеф громче и покраснел.

Опять никто не поднялся.

– Жиды, встать!!! – закричал шеф, хватаясь за пистолет.

Тогда в разных местах зала стали подниматься музыканты – скрипачи, виолончелисты, – некоторые техники, редакторы. Наклоняя головы, гуськом побрели к выходу.

Шеф дождался, пока за последним закрылась дверь. Затем на ломаном русском языке он объявил оставшимся, что мир должен услышать голос свободного Киева. Что в считанные дни нужно восстановить радиостанцию и с завтрашнего дня – все за работу. Кто уклонится, будет рассматриваться как саботажник. Начинается мирная созидательная работа.

Притихшие, озадаченные люди поднялись, чтобы расходиться.

И тут раздался первый взрыв.

Это было 24 сентября, в четвертом часу дня.

Дом немецкой комендатуры с «Детским миром» на первом этаже взорвался. Взрыв был такой силы, что вылетели стекла не только на самом Крещатике, но и на параллельных ему улицах Пушкинской и Меринга. Стекла рухнули со всех этажей на головы немцев и прохожих, и многие сразу же были поранены.

На углу Прорезной поднялся столб огня и дыма. Толпы побежали – кто прочь от взрыва, кто, наоборот, к месту взрыва, смотреть.

В первый момент немцы несколько растерялись, но потом стали строить цепь, окружили горящий дом и хватали всех, кто оказался в этот момент перед домом или во дворе.

Волокли какого-то долговязого рыжего парня, зверски его били, и разнесся слух, что это партизан, который принес в «Детский мир» радиоприемник – якобы сдавать, но в приемнике была адская машина.

Всех арестованных вталкивали в кинотеатр здесь же рядом, и скоро он оказался битком набитым израненными, избитыми и окровавленными людьми.

В этот момент в развалинах того же самого дома грянул второй, такой же силы, взрыв. Теперь рухнули стены, и комендатура превратилась в гору кирпича. Крещатик засыпало пылью и затянуло дымом.

Третий взрыв поднял на воздух дом напротив – с кафе-кондитерской, забитой противогазами, и с немецкими учреждениями.

Немцы оставили кинотеатр и с криками: «Спасайтесь, Крещатик взрывается!» – бросились бежать кто куда, а за ними арестованные, в том числе и рыжий парень.

Поднялась невероятная паника. Крещатик действительно взрывался.

Взрывы раздавались через неравные промежутки в самых неожиданных и разных частях Крещатика, и в этой системе ничего нельзя было понять.

Взрывы продолжались всю ночь, распространяясь на прилегающие улицы. Взлетело на воздух великолепное здание цирка, и его искореженный купол перекинуло волной через улицу. Рядом с цирком горела занятая немцами гостиница «Континенталь».

Никто никогда не узнает, сколько в этих взрывах и пожаре погибло немцев, их снаряжения, документов, а также мирных жителей и имущества, так как никогда ничего на этот счет не сообщалось [ни большевиками, ни фашистами.]

Стояла сухая пора, и потому начался пожар, который можно сравнить, пожалуй, лишь со знаменитым пожаром Москвы во время нашествия Наполеона в 1812 году.

На верхних этажах и чердаках зданий было заготовлено множество ящиков боеприпасов и противотанковых бутылок с горючей смесью, *ибо советское военное командование собиралось драться в Киеве за каждую улицу, для чего весь город был изрыт рвами и застроен баррикадами.* Теперь, когда к ним подбирался огонь, эти ящики ухали с тяжким характерным взрывом-вздохом, обливая здания потоками огня. Это и доконало Крещатик.

Немцы, которые так торжественно сюда вошли, так удобно расположились, теперь метались по Крещатику, как в мышеловке. Они ничего не понимали, не знали, куда кидаться, что спасать.

Надо отдать им должное: они выделили команды, которые побежали по домам всего центра Киева, убеждая жителей выходить на улицу, эвакуируя детей и больных. Много уговаривать не приходилось. Жители – кто успел схватить узел, а кто в чем стоял – бежали в парки над Днепром, на Владимирскую горку, на бульвар Шевченко, на стадион. Было много обгоревших и раненых.

Немцы оцепили весь центр города. Пожар расширялся: горели уже и параллельные Пушкинская и Меринга, поперечные улицы Прорезная, Институтская, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Пассаж. Было впечатление, что взрывается весь город.

До войны в Киеве начинали строить метро, и теперь поползли слухи, что то было не метро, а закладка чудовищных мин под всем Киевом. *Но более правдоподобными были запоздалые воспоминания, что по ночам во дворы приезжали грузовики, и люди в форме НКВД что-то сгружали в подвалы, Но куда в те времена не приезжали по ночам машины НКВД и чем только они ни занимались! Кто и видел из-за занавески – предпочитал не видеть и забыть.* И никто понятия не имел, где произойдет следующий взрыв, поэтому бежали из домов далеко от Крещатика.

Откуда – то немцы срочно доставили на самолете длинные шланги, протянули их от самого Днепра через Пионерский парк и стали качать воду мощными насосами. Но до Крещатика вода не дошла: среди зарослей парка кто-то шланги перерезал.

Над чудовищным костром, каким стал центр Киева, образовались мощные воздушные потоки, в которых как в трубе, высоко взлетали горящие щепки, бумаги, головни, посыпая то Бессарабку, то Печерск. Поэтому на все крыши повзбирались немцы, полицейские, дворники, *добровольцы*, засыпали головни песком, затаптывали угли. Погорельцы ночевали в противовоздушных щелях, в кустах бульваров и парков.

Немцы не могли даже достать трупы своих погибших *или жителей*, они сгорали дотла. Горело все, что награбили немцы, *горели шестикомнатные квартиры, набитые роялями, горели радиокомитет, кинотеатры, универмаги.*

После нескольких отчаянных дней борьбы с пожаром немцы прекратили сопротивление, вышли из этого пекла, в котором, кажется, уже не оставалось ничего живого, и только наблюдали пожар издали.

Крещатик продолжал гореть в полном безлюдье, только время от времени в каком-нибудь доме с глухим грохотом рушились перекрытия или падала стена, и тогда в небо взлетало особенно много углей и факелов.

Город насквозь пропитался гарью; по ночам он был залит красным светом, и это зарево, как потом говорили, было видно за сотни километров и служило ориентиром для самолетов.

Сами взрывы закончились 28 сентября. Главный пожар продолжался две недели, и две недели стояло оцепление из автоматчиков.

А когда оно было снято и немцы туда пошли, то улиц, собственно, не было: падавшие с двух сторон здания образовали завалы. Примерно месяц шли работы по прокладке проездов. Раскаленные развалины дымились еще долго; даже в декабре я своими глазами видел упрямо выбивающиеся из-под кирпича струи дыма.

* * *

Взрыв и пожар Крещатика, *нигде и никем до сего не описанные,* должны, по-моему, войти в историю войны принципиальной вехой.

Во-первых, это была первая в истории строго подготовленная акция такого порядка и масштаба. Нужно уяснить, что значил Крещатик для Киева. (При соответствующем масштабе это все равно, как если бы взорвался центр Москвы в пределах Бульварного кольца, Невский проспект в Ленинграде с окружающими улицами, или, скажем, сердце Парижа до Больших бульваров. *До Крещатика такое и вообразить было трудно, а вот НКВД вообразило и, так сказать, открыло в войнах новую страницу.* Только после Крещатика и у немцев, и у советских родилось это правило: обследовать каждое занятое здание и писать «Проверено. Мин нет». *Понятным было уничтожение при отступлении мостов, военных и промышленных объектов.*

Но здесь взрывалось сердце города сугубо мирное, с магазинами и театрами.

Во – вторых, многие приняли акцию с Крещатиком как первое такого размаха проявление подлинного патриотизма. Ни одна столица Европы не встретила Гитлера так, как Киев. Город Киев не мог больше обороняться, армия оставила его, и он, казалось, распластался под врагом. Но он сжег себя сам у врагов на глазах и унес многих из них в могилу. Да, они вошли, как привыкли входить в западноевропейские столицы, готовясь пировать, но вместо этого так получили по морде, что сама земля загорелась у них под ногами. *Где это было до Крещатика, скажите?*

[С другой стороны, уничтожать древний и великолепный центр столицы ради одной патриотической пощечины врагу, губя при этом и множество мирных жителей, – не слишком ли это? И вот тут начинаются вещи странные.

Никогда, ни в то время, ни после советские власти не признались во взрыве Крещатика, а наоборот, приписали этот взрыв… немцам. Они кричали в печати о варварстве фашистов, а потом после войны обтыкали развалины плакатами и писали во всех газетах: «Восстановим гордость Украины Крещатик, зверски разрушенный фашистскими захватчиками».

Весь Киев, вся Украина, весь народ прекрасно знали, что Крещатик разрушен советскими, а им вдалбливалось, что это сделали проклятые немцы. То есть, что они вошли в прекрасный город, заняли его великолепный центр, пять дней трудились, закладывая мины под собой, чтобы их под собой же и взорвать. Зачем? На это ответ точный: фашисты есть варвары. С этим никто не спорит, фашисты – варвары, но Крещатик взорвали большевики.

Только в 1963 году КГБ выдало для публикации небольшую «Справку КГБ при Совете Министров УССР о диверсионно-разведывательной деятельности группы подпольщиков г. Киева под руководством И. Д. Кудри».]

[Справка эта не говорит об уничтожении Крещатика, но лишь о «взрывах», совершенно обходя само слово «Крещатик».]

Из нее выясняется, что И. Д. Кудря, под кличкой «Максим», был работником органов безопасности, по их заданию был оставлен в городе вместе с группой, в которую входили Д. Соболев, А. Печенев, Р. Окипная, Е. Бремер и другие. Цитирую:

«В городе… не прекращались пожары и взрывы, принявшие особенный размах в период с 24 по 28 сентября 1941 года, в числе других был взорван склад с принятыми от населения радиоприемниками, немецкая военная комендатура, кинотеатр для немцев и др. И хотя утвердительно никто не может сказать, кто конкретно осуществлял подобные взрывы, уносившие в могилу сотни „завоевателей“, нет сомнения, что к этому приложили руку лица, имевшие отношение к группе „Максима“. Главное же состояло в том, что заносчивым фашистским „завоевателям“ эти взрывы давали понять, что хозяином оккупированной земли являются не они».

Далее сообщается, что Д. Соболев погиб при одной из своих многочисленных операций, А. Печенев застрелился раненый в постели, когда его хватали гестаповцы. Кудря-«Максим», Р. Окипная и Е. Бремер были схвачены в Киеве в июле 1942 года, но где они умерли, достоверно неизвестно.

В 1965 году в «Правде» был опубликован без всяких комментариев указ о присвоении И. Д. Кудре посмертно звания Героя Советского Союза.

[Более двадцати лет для колебаний по поводу такого решения, видимо, понадобились, чтобы убедиться, что Кудря действительно погиб, а не переметнулся к немцам и не работает сейчас где-нибудь на Западе.

Подробности эпопеи Крещатика могло бы осветить только КГБ, но оно хранит тайну. И остается масса неясного, непроверенного.] Существует много слухов и легенд: о каком-то чекисте-смертнике, который ворвался в вестибюль «Континенталя», включил взрыватели и погиб при этом сам. О том, что другой смертник взорвал во время сеанса кинотеатр Шанцера, когда он был набит немцами и прочее. Все это трудно проверить.

[Несомненно одно: мины закладывались основательно, обдуманно, задолго до взятия немцами Киева и по крайней мере в основной своей части имели систему взрывания, позволявшую их взрывать выборочно и в намеченное время.

Живы свидетели, видевшие доставку взрывчатки на грузовиках НКВД за месяц-полтора до взрывов. Им тогда и в голову не приходило, что это закладываются мины, потому что немцы были далеко от Киева, а газеты и радио захлебывались, заявляя, что Киев ни за что не будет отдан врагу. Но видимо органы безопасности лучше отдавали себе отчет в ситуации.

Так зачем же все-таки был взорван Крещатик? Я выскажу мнение свое и мнение большинства киевлян, а вы судите сами.

Взорван был центр, принадлежавший аристократии, бюрократии и самим чекистам. Им, конечно, не хотелось покидать свои квартиры, свои мягкие кресла. И они решили устроить сюрприз. Взорвав Крещатик вместе с немцами, они так злорадно потирали руки, что даже не догадались придать этому патриотическую окраску, а немедленно свалили вину на врагов. В этом – смысл слов из их вымученной справки-признания: «заносчивым фашистским „завоевателям“ эти взрывы давали понять, что хозяином оккупированной земли являются не они».

Взрывая мирный Крещатик, они, однако, действительно наносили немцам и ощутимый военный урон, а то, что при этом погибнет втрое больше мирных жителей, это советскую власть никогда не волновало. Тем более, что по советским понятиям люди, оставшиеся на оккупированной территории, – не патриоты, значит и не люди.

Чекисты выжидали целых пять дней, держа руки на взрывателях, чтобы побольше немцев разместилось на Крещатике, чтобы определить порядок взрывов. Первой была взорвана комендатура. И еще эти пять дней давали возможность все свалить на немцев.

Но был еще один, самый зловещий аспект Крещатика: обозлить немцев для того, чтобы, озверев, они сняли чистые перчатки в обращении с народом. Госбезопасность СССР провоцировала немцев на беспощадность. Благо, в беспощадности они были хорошими учениками.

И немцы на это клюнули. Свой ответ на Крещатик они обнародовали тоже спустя пять дней, а именно – 29 сентября 1941 года.]

Нет, они официально в связи с Крещатиком ничего не объявили и никого не казнили публично. [Но они стали мрачны и злы, начисто исчезли улыбки. На них, закопченных и озабоченных, жутковато было смотреть, и похоже, они к чему-то готовились.]

Приказ

Утром 28 сентября к нам вдруг явился Иван Свинченко из села Литвиновки. Он шел домой из окружения.

Это был добрый, простодушный и малограмотный крестьянин, великий труженик и отец большой семьи. До войны, приезжая из деревни в город на базар, он ночевал у деда с бабкой. Никогда не забывал для меня какой-нибудь немудрящий деревенский гостинец, только я его дичился, может, потому, что у него был дефект речи: иногда в разговоре он захлебывался, и тогда слышалось одно невнятное бормотание «бала-бала». Очень странный дефект.

Как все окрестные колхозники, он и раньше вечно был в каком-то тряпье, грязен. Но сейчас он явился такой уж оборванный, такой страшный, что его трудно было узнать. Где-то он сменял свою военную форму на это тряпье.

Вот что с ним произошло.

Вместе со своей частью Иван Свинченко защищал Киев, потом пришел приказ отступать, и они перешли через Днепр на левый его берег, в Дарницу. Там они долго *и бессмысленно* кружили по лесам и проселкам, их бомбили, косили пулеметами с воздуха, *никто из командиров понятия не имел, что делать. Потом командиры вообще куда-то исчезли, и все стали кричать, что надо идти по домам. У всех было ощущение, что войне конец.*

Но в глухом лесу наткнулись на партизан. *Ими руководили энкаведисты,* и партизаны были хорошо экипированы, с возами, продовольствием, имели много оружия, они пугали немцами и звали к себе. Иван *эмкаведистов ненавидел, и он* затосковал.

– То я подождав, бала-бала, ночи – и утик! – объяснил он.

Несколько дней он шел полями и лесами, и повсюду брели такие же, *не хотевшие воевать. А за что, спрашивается – за колхозы, за колымские лагеря, за нищету? А вокруг была родная Украина, и совсем, недалеко где-то – хата, жена и дети. Украинцы шли по домам, русские, чьи дома были у Советов, брели сами не зная куда, или искали немцев, чтобы сдаться в плен.*

Иван наткнулся на колонну, сотни в две, таких сдавшихся. Их вели всего двое немцев, да и то, повесив на плечо явно ненужные винтовки. Ивана присоединили. Мужики приняли Ивана с хохотом и свистом, они были рады, что отвоевались и идут отдыхать в плен. Но этот чудак Иван не хотел отдыхать, а все думал о семье.

– То я пройшов трошки, бала-бала, сховався в яму – и утик!

Бабка кормила оголодавшего Ивана, сердобольно ахала. Дед по какому-то делу пошел было на улицу, но почти тотчас затопотал ногами по крыльцу и ввалился в комнату:

– Поздравляю вас! Ну!.. Завтра в Киеве ни одного жида больше не будет. Видно, правду говорят, что это они Крещатик сожгли. Слава тебе, Господи! Хватит, разжирели на нашей крови, заразы. Пусть теперь едут в свою Палестину, хоть немцы с ними справятся. Вывозят их! Приказ висит.

Мы стремглав побежали все на улицу. На заборе была наклеена серая афишка на плохой оберточной бумаге, без заглавия и без подписи:

Все жиды города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года к 8 часам утра на угол Мельниковской и Дохтуровской (возле кладбищ). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и проч.

Кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян[3].

Ниже следовал этот же текст на украинском языке, еще ниже, мелким петитом, на немецком, так что афишка получилась трехэтажная.

Я перечитал ее два раза, и почему-то холодок прошел по коже. Уж очень жестоко, с какой-то холодной ненавистью написано. Да еще день был холодный, ветренный, на улице пустынно. Я не пошел в дом, а взволнованный, сам не зная почему, побрел к базару.

Через три двора от нас – большой двор коллективного огородного хозяйства. Там одна к одной лепились мазанки, сарайчики, коровники, и там жило и работало много евреев, *убогие, темные, такие уж жалкие…* Я заглянул – у них во дворе стояла тихая паника, они метались из халупки в халупку, таскали вещи.

Афишки висели и в других местах. Я останавливался, перечитывал, все равно чего-то не понимая.

Во – первых, если евреев решили вывезти, действительно, в отместку за Крешатик, то при чем здесь все? Может, взрывали какие-нибудь десять человек, а остальные за что должны, страдать? Правда, понять можно: немцы не могут выявить поджигателей, и тогда они решили просто вывезти всех. Жестоко, но верно?

Во – вторых, улиц Мельниковской и Дохтуровской в Киеве нет, но есть улицы Мельникова и Дегтяревская, – приказ явно сочиняли сами немцы и с плохими переводчиками. Эти улицы действительно возле русского и еврейского кладбищ на Лукьяновке, а поблизости – товарная станция Лукьяновка. Значит, их повезут? *Но куда? Неужели в Палестину, как предполагает дед?*

Но опять это жестоко: выгонять силой тысячи людей из родных мест, везти туда, где у них ни кола, ни двора, а сколько их заболеет и умрет в дороге! И все из-за того, что несколько из них оказались поджигателями?

Это значит, что и Шурка Маца поедет? Но его мать – русская, и она с отцом разошлась, и Шурка давно не знает своего отца, как и я. Значит, Шурку повезут одного? Мать останется, а он поедет? Мне стало жалко его, жалко навсегда с ним расставаться.

И вдруг – неожиданно для самого себя, прямо как-то стихийно – я подумал словами деда, даже с его интонацией и злобой: «А! Ну и что? Вот пусть и едут в свою Палестину. Хватит, разжирели! Здесь Украина, а они, видите ли, расплодились, расселись, как клопы. И Шурка Маца – тоже жид пархатый, хитрый, вредный, сколько книг у меня зажилил! Пусть уезжают, без них будет лучше, дед мой умный, дед прав».

Так размышляя, я дошел до Куреневского отделения милиции, где когда-то служил мой батя. Теперь здесь была полиция. В окне они выставили портрет Гитлера. Гитлер смотрел строго, почти зловеще, он был в разукрашенном картузе. И картуз этот был надвинут на самые глаза.

Конечно, я не мог пропустить такое невероятное зрелище, как вывоз евреев из Киева. Дождавшись рассвета, я выскочил на улицу.

Они выходили еще затемно, чтобы оказаться пораньше у поезда и занять места. С ревущими детьми, со стариками и больными, плача и переругиваясь, выползло на улицу еврейское население огородного колхоза. Перехваченные веревками узлы, ободранные фанерные чемоданы, заплатанные кошелки, ящички с плотницкими инструментами… Старухи несли, перекинув через шею, как гигантские ожерелья, венки луку – запас провизии на дорогу…

[3] Центральный государственный архив Октябрьской революции, Москва. Фонд 7021, опись 65, единица хранения 5.

Понимаете, когда всё нормально, всевозможные калеки, больные, старики сидят дома, и их не видно. Но здесь должны были выйти все – и они вышли.

Меня потрясло, как много на свете больных и несчастных людей.

Кроме того, еще одно обстоятельство. Здоровых мужчин мобилизовали в армию, остались одни инвалиды. Кто мог эвакуироваться, у кого были деньги, кто мог уехать с предприятием или используя блат, те уезжали.

[Один куреневский продавец по фамилии Клоцман сумел уехать вместе с семьей, уже когда Киев был окружен. Не знаю, правда ли, но говорят он заплатил баснословные деньги каким-то летчикам, и те погрузили его с вещами в самолет. (И после войны он явился на Куреневку живой и здоровый).]

А осталась в городе самая настоящая шолом-алейхемовская беднота, и вот она выползла на улицы.

«Да зачем же это? – подумал я, *сразу начисто забыв свой вчерашний антисемитизм.* – Нет, это жестоко, несправедливо, и очень жалко Шурку Мацу; зачем это вдруг его выгоняют, как собаку?! *Пусть он книжки зажиливал, так это потому, что он забывчивый, а я сам – сколько раз его несправедливо лупил?»*

В судорожном возбуждении я шнырял от кучки к кучке, прислушивался к разговорам, и чем ближе к Подолу, тем больше людей становилось на улицах. В воротах и подъездах стояли жители, смотрели, вздыхали, *посмеивались или кричали евреям ругательства. Одна злобная старуха в грязном платке вдруг выбежала на мостовую, вырвала у старухи-еврейки чемодан и побежала во двор. Еврейка закричала, но в воротах ей заступили дорогу здоровенные усатые мужики. Она рыдала, проклинала, жаловалась, но никто за нее не заступился, и толпа шла мимо, наклоняя головы. Я заглянул в щелку и увидел, что во дворе лежит уже целая куча отнятых вещей.*

Краем уха услышал разговоры, что где-то тут извозчик, специально нанятый, вез багаж нескольких семей. Он хлестнул коня и погнал в переулок – и его не догнали.

По Глубочице поднималась на Лукьяновку сплошная толпа, море голов, шел еврейский Подол. О, этот Подол!.. [Этот самый вопиющий район Киева можно было узнать по одному тяжкому воздуху – смеси гнили, дешевого жира и сохнущего белья. Здесь испокон веков жила еврейская нищета, голь перекатная: сапожники, портные, угольщики, жестянщики, грузчики, шорники, спекулянты, воры… Дворы без зелени, зловонные мусорные ямы, покосившиеся сараи, полные огромных жирных крыс, уборные с выгребами и роями мух, пыльные и грязные улички, разваливающиеся дома и сырые подвалы – таким был этот галдящий, плодючий и разнесчастный Подол.]

От шума и галдения у меня голова лопалась. Сплошь разговоры: куда повезут, как повезут?

В одной кучке только и слышалось: «Гетто, гетто!» Подошла взволнованная немолодая женщина, вмешалась: «Люди добрые, это смерть!» Старухи заплакали, как запели. Разнесся слух, что где-то тут прошли караимы (я первый раз слышал это слово, оказывается, это такая маленькая семитская народность) – древние старики шли в хламидах до пят, они всю ночь провели в своей караимской синагоге, вышли и проповедовали: «Дети, мы идем на смерть, приготовьтесь. Примем ее мужественно, как принимал Христос».

Кто-то возмущался: как можно так сеять панику! Но уже было известно, что какая-то женщина отравила своих детей и отравилась сама, чтобы не идти. У Оперного театра из окна выбросилась девушка, лежит, накрытая простыней, и никто ее не убирает.

Вдруг все заволновались, заговорили, что впереди, на улице Мельникова, стоит оцепление, туда впускают, а обратно нет.

Тут я испугался. Я устал, у меня гудела голова от всего этого, и я испугался, что не выберусь обратно и меня увезут. Стал проталкиваться против толпы, выбрался, потом долго шел по опустевшим улицам – по ним почти бегом спешили редкие опоздавшие, *из ворот им свистели и улюлюкали вдогонку.*

Придя домой, увидел деда. Он стоял на середине двора, напряженно прислушиваясь к какой-то стрельбе, поднял палец.

– А ты знаешь, – сказал он потрясенно, – ведь их не вывозят. Их стреляют.

И тут до меня дошло.

Из Бабьего Яра неслись отчетливые, размеренные выстрелы из пулемета: та-та-та, та-та…

Тихая, спокойная, размеренная стрельба, как на учениях. Наш Бабий Яр лежит между Куреневкой и Лукьяновкой, чтобы попасть на кладбища, стоит только перейти его. Их, оказывается, гнали оттуда, с Лукьяновки, в этот наш овраг.

Дед выглядел озадаченным и испуганным.

– Может, это стрельбище? – предположил я.

– Какое стрельбище! – жалобно закричал дед. – Вся Куреневка уже говорит, на деревья лазили – видели. Виктор Македон прибежал – жену-еврейку провожал, едва спасся, Матерь Божья, Царица Небесная, что же это, да зачем же это их?

Мы пошли в дом, но сидеть там было невозможно. Стрельба, стрельба.

Дед пошел к Македону узнавать, там сидело много народу, и этот парень (он женился перед самой войной) рассказывал, что там смотрят паспорта и бросают их в костер, а он закричал: «Я русский!», тогда от него жену оторвали и повели в Яр, а его полицейский выгнал…

На дворе было холодно, все так же дул пронзительный ветер, как и вчера.

Я все выбегал, прислушивался. Бабка вынесла мне пальто и шапку, слушала сама, заламывала руки, бормоча: «Боже, и бабы там, и деточки маленькие…» Мне показалось, что она плачет. Обернулся – она крестилась, стоя лицом к Бабьему Яру:

– Оченаш, жои си… на небеси…

На ночь стрельба прекратилась, но утром поднялась снова. По Куреневке говорили, что за первый день расстреляно тридцать тысяч человек, остальные сидят и ждут очереди.

Бабка пришла от соседей с новостью. Во двор огородного хозяйства прибежал четырнадцатилетний мальчик, сын конюха колхоза, рассказывает ужасы: что там всех раздевают, ставят над рвами по нескольку человек в затылок, чтобы одной пулей убивать многих; положат штабель убитых, присыпают, потом снова кладут, а много недобитых, так что земля шевелится, и некоторые выползают, *их бьют по голове и, снова запихивают в землю. А его не заметили,* он выполз и прибежал.

– Его надо спрятать! – сказала мама. – В окоп.

– Сынок, – воскликнула бабка, – беги скоренько, покличь его, накормим да сховаем.

Я поспешил в огородное хозяйство.

Но было уже поздно. У ворот стояла телега, запряженная понурым коньком, на ней сидел немецкий солдат с кнутом. Другой солдат, с ружьем под мышкой, вел из ворот бледного мальчишку. Собственно, он даже не вел, а они как-то вышли рядом.

Они подошли к телеге, сели на нее с двух сторон, и солдат даже сдвинул сено, чтобы мальчишке было удобнее. Он положил ружье в сено, а мальчишка лег боком, опершись на локоть. Его большие карие глаза спокойно и безразлично скользнули по мне.

Солдат взмахнул кнутом, чмокнул, и телега тронулась – так просто и буднично, словно они поехали на луг косить сено.

Бабы во дворе громко спорили, я подошел и послушал. Одни возмущались, другие возражали:

– Она правильно сделала. Всех их подушить. Это им за Крещатик!

В колхозе жила одинокая женщина-русская, работала скотницей. Мальчишка из Яра прибежал в свою квартиру. Она его увидела, разохалась, выслушала его повесть, поставила на стол кувшин с молоком, велела сидеть тихо, не выходить, чтобы никто не увидел, затем пошла в полицию – и заявила. Да еще, вернувшись, постерегла, пока не приехала подвода с немцами.

Из самого оврага Бабий Яр в те дни спаслась женщина, мать двоих детей, актриса Киевского театра кукол Дина Мироновна Проничева. Это – единственный свидетель, вышедший оттуда. Привожу ее рассказ, записанный лично мною с ее слов, не добавляя ничего.

Бабий яр

Она ходила читать приказ, быстро прочла и ушла: у листков с приказом вообще никто долго не задерживался и разговоров не возникало.

Весь день и вечер шли обсуждения и предположения. У нее были отец и мать, дряхлые уже, мать перед приходом немцев вышла из больницы после операции, вот все думали: как же ей ехать? Старики были уверены, что на Лукьяновке всех посадят в поезд и повезут на советскую территорию.

Муж Дины был русским, фамилия ее русская, кроме того, и внешность совсем не еврейская. Дина была скорее похожа на украинку и знала украинский язык. Спорили, гадали, думали и решили, что старики поедут, а Дина их проводит, посадит в поезд, сама же останется с детьми – и будь, что будет.

Отец был стекольщиком, они с матерью жили на Тургеневской, дом 27. Дина с детьми – на Воровского, дом 41.

Она пошла домой поздно, пыталась заснуть, но так и не спала в ту ночь. По двору все время бегали, топотали: ловили одну девушку из этого дома. Эта девушка спасалась на чердаке, потом пыталась спуститься по пожарной лестнице, мужские голоса кричали:»Вон она!»

Дело в том, что перед приходом немцев эта девушка говорила:

– Они ни за что не войдут в Киев, а если войдут, я оболью дом керосином и подожгу.

Так вот теперь жена дворника вспомнила это и, боясь, как бы она в самом деле не подожгла, заявила немцам, и как раз в эту ночь ее ловили.

Это была муторная, напряженная, жуткая ночь. Дину всю трясло. Она так и не поняла, схватили ту девушку, или нет.

Когда стало светать, она умылась, причесалась, взяла документы и пошла к старикам на Тургеневскую – это рядом. На улицах было необычно много народу; все куда-то деловито спешили с вещами.

У родителей она была в седьмом часу утра. Весь дом не спал. Уезжающие прощались с соседями, обещали писать, поручали им квартиры, вещи, ключи.

Старики много нести не могли, ценностей у них не было, просто взяли необходимое и еду. Дина надела на спину рюкзак, и в восьмом часу утра они вышли.

По Тургеневской шло много людей, но на улице Артема уже было сплошное столпотворение. Люди с узлами, с колясками, разные двуколки, подводы, изредка даже грузовики – все это стояло, потом подвигалось немного, снова стояло.

Был сильный говор, гул толпы, и было похоже на демонстрацию, когда улицы так же запружены народом, но не было флагов, оркестров и торжества.

Странно с этими грузовиками: откуда их добывали? Было, что целый дом складывался и нанимал под вещи транспорт, и так уж они все держались по бокам своей подводы или грузовика. Среди узлов и чемоданов лежали больные, гроздьями сидели детишки. Грудных детей иногда везли по двое, по трое в одной коляске.

Очень много было провожающих: соседи, друзья, родственники, украинцы и русские, помогали нести вещи, вели больных, а то и несли их на закорках.

Все это шествие двигалось очень медленно, а улица Артема очень длинная. У одних ворот стояли немецкие солдаты, смотрели, особенно на девушек. Видимо, Дина им понравилась, они стали звать ее во двор, показывая, что, мол, нужно вымыть полы:

– Ком вашен!

Она отмахнулась. Очень, очень долго, до одури долго длилось это гудящее шествие, эта «демонстрация» с толкотней, разговорами и детским плачем. Дина была в меховой шубке, ей стало жарко.

Лишь где – то после обеда дошли до кладбищ. Она помнит, что направо была длинная кирпичная стена еврейского кладбища с воротами.

Здесь поперек улицы было проволочное заграждение, стояли противотанковые ежи – с проходом посредине, и стояли цепи немцев с бляхами на груди, а также украинские полицаи в черной форме с серыми обшлагами.

Очень рослый деятельный дядька в украинской вышитой сорочке, с казацкими висящими усами, очень приметный, распоряжался при входе. Толпа валила в проход мимо него, но обратно никто не выходил, только изредка с криками проезжали порожняком извозчики: они уже где-то там сгрузили вещи и теперь перли против толпы, орали, размахивали кнутами, это создавало толкучку и ругань.

Все было очень непонятно. Дина посадила стариков у ворот кладбища, а сама пошла посмотреть, что делается впереди.

Как и многие другие, она до сих пор думала, что там стоит поезд. Слышалась какая-то близкая стрельба, в небе низко кружил самолет, и вообще вокруг было тревожно-паническое настроение.

В толпе обрывки разговоров:

– Это война, война! Нас вывозят подальше, где спокойнее.

– А почему только евреев?

Какая – то бабушка весьма авторитетным голосом предполагала:

– Ну потому, что они – родственная немцам нация, их решили вывезти в первую очередь.

Дина с трудом проталкивалась в толпе, все больше беспокоясь, и тут увидела, что впереди все складывают вещи. Разные носильные вещи, узлы и чемоданы в кучу налево, все продукты – направо.

А немцы направляют всех дальше по частям: отправят группу, ждут, потом через какой-то интервал опять пропускают, считают, считают… стоп. Как бывает, в магазин за ситцем пропускают очередь десятками.

Опять разговоры в шуме и гаме:

– Ага, вещи идут, конечно, багажом: там разберемся на месте.

– Какое там разберемся, такая пропасть вещей, их просто поровну *между всеми* поделят, вот вам *и не будет богатых и бедных.*

Дине стало жутко. Ничего похожего на вокзал железной дороги. Она еще не знала, что это, но всей душой почувствовала, что это не вывоз. Все что угодно, только не вывоз.

Особенно странными были эти близкие пулеметные очереди. Она все еще не могла и мысли допустить, что это расстрел. Во-первых, такие огромные массы людей! Так не бывает. И потом – зачем?!

Можно уверенно предположить, что большинство чувствовало то же, что и Дина, чувствовало неладное, но продолжало цепляться за это «нас вывозят» вот еще по каким причинам.

[Когда вышел приказ, девять евреев из десяти слыхом не слыхали о каких-то фашистских зверствах над евреями.

До самой войны советские газеты лишь расхваливали да превозносили Гитлера – лучшего друга Советского Союза и ничего не сообщали о положении евреев в Германии и Польше. Среди киевских евреев можно было найти даже восторженных поклонников Гитлера как талантливого государственного деятеля.

С другой стороны,] старики рассказывали, как немцы были на Украине в 1918 году, и тогда они евреев не трогали, наоборот, весьма неплохо относились к ним, потому что – похожий язык и все такое…

Старики говорили:

– *Немцы есть разные, но в общем это культурные и порядочные люди, это* вам не дикая Россия, это Европа – и европейская порядочность.

Или такой – уже совсем свежий – факт. Два дня назад какие-то люди на улице Воровского захватили квартиру эвакуированной еврейской семьи. Оставшиеся в доме родственники пошли в штаб ближайшей немецкой части и пожаловались. Тут же явился офицер, строго приказал освободить квартиру и любезно поклонился евреям: «Пожалуйста, всё в порядке». Это было буквально позавчера, и все это видели, и об этом сразу разнеслись слухи. А ведь немцы очень последовательны и логичны, уж чем-чем, а последовательностью они отличались всегда.

Но если это не вывоз, то что же тут делается?

Дина говорит, что в этот момент она чувствовала только какой-то животный ужас и туман – состояние, ни с чем не сравнимое.

С людей снимали теплые вещи. Солдат подошел к Дине, быстро и без слов ловко снял с нее шубку.

Тут она кинулась назад. Отыскала стариков у ворот, рассказала, что видела. Отец сказал:

– Доченька, ты нам уже не нужна. Уходи. Она пошла к заграждению. Тут довольно много людей добивались, чтобы их выпустили назад. Толпа валом валила навстречу. Усач в вышитой сорочке все так же кричал, распоряжался. *Все называли его «пан Шевченко». Может, это была его подлинная фамилия, может, кто-то назвал его так за усы, но звучало это довольно дико, как «пан Пушкин», «пан Достоевский».* Дина протолкалась к нему и стала объяснять, что вот провожала, что у нее остались в городе дети, она просит, чтобы ее выпустили.

Он потребовал паспорт. Она достала. Он посмотрел графу «национальность» и воскликнул:

– Э, жидивка! Назад!

Тут Дина окончательно поняла: это расстреливают.

Судорожно она стала рвать паспорт на мелкие кусочки. Она бросала их под ноги, налево, направо. Пошла обратно к старикам, но ничего им не сказала, чтобы не волновать преждевременно.

Хотя она была уже без шубки, ей стало очень душно. Вокруг было много народу, плотная толпа, испарения; ревут потерявшиеся дети; некоторые, сидя на узлах, обедают. Она еще подумала: «Как они могут есть? Неужели до сих пор не понимают?»

Тут стали командовать, кричать, подняли всех сидевших, подвинули дальше, и задние напирали – получалась какая-то немыслимая очередь. Сюда кладут одни вещи, туда – другие вещи, толкаются, выстраиваются. В этом хаосе Дина потеряла своих стариков, высматривала, увидела, что их отправляют в группе дальше, а перед Диной очередь остановилась.

Стояли. Ждали. Она вытягивала шею, чтобы понять, куда повели отца и мать. Вдруг подошел огромнейший немец и предложил:

– Иди со мной спать, а я тебя выпущу.

Она посмотрела на него, как на ненормального, он отошел. Наконец, стали пропускать ее группу.

Говор затих, все умолкли, словно оцепенели, и довольно долго молча шли, а по сторонам стояли шеренгами фашисты. Впереди показались цепи солдат с собаками на поводках. Позади себя Дина услышала:

– Дети мои, помогите пройти, я слепой.

Она обхватила старика за пояс и пошла вместе с ним.

– Дедушка, куда нас ведут? – спросила она.

– Детка, – сказал он, – мы идем отдать Богу последний долг.

В этот момент они вступили в длинный проход между двумя шеренгами солдат и собак. Этот коридор был узкий, метра полтора. Солдаты стояли плечом к плечу, у них были закатаны рукава, и у всех имелись резиновые дубинки или большие палки.

И на проходящих людей посыпались удары.

Спрятаться или уклониться было невозможно. Жесточайшие удары, сразу разбивающие в кровь, сыпались на головы, на спины и плечи слева и справа. Солдаты кричали «Шнель! Шнель!» и весело хохотали, словно развлекались аттракционом, они исхитрялись как-нибудь покрепче ударить в уязвимые места, под ребра, в живот, в пах.

Все закричали, женщины завизжали. Словно кадр в кино, перед Диной промелькнуло: знакомый парень с ее улицы, очень интеллигентный, хорошо одетый, рыдает.

Она увидела, что люди падают. На них тотчас спускали собак. Человек с криком подхватывался, но кое-кто оставался на земле, а сзади напирали, и толпа шла прямо по телам, растаптывая их.

У Дины в голове от всего этого сделался какой-то мрак. Она выпрямилась, высоко подняла голову и шла, как деревянная, не сгибаясь. Ее, кажется, искалечили, но она плохо чувствовала и соображала, у нее стучало только одно: «Не упасть, не упасть».

Обезумевшие люди вываливались на оцепленное войсками пространство – этакую площадь, поросшую травой. Вся трава была усыпана бельем, обувью, одеждой.

Украинские полицаи, судя по акценту – не местные, а явно с запада Украины, грубо хватали людей, лупили, кричали:

– Роздягаться! Швидко! Быстро! Шнель!

Кто мешкал, с того сдирали одежду силой, били ногами, кастетами, дубинками, опьяненные злобой, в каком-то садистском раже.

Ясно, это делалось для того, чтобы толпа не могла опомниться. Многие голые люди были все в крови.

Со стороны группы голых и куда-то уводимых Дина услышала, как мать кричит ей, машет рукой:

– Доченька, ты не похожа! Спасайся!

Их угнали. Дина решительно подошла к полицаю и спросила, где комендант. Сказала, что она провожающая, попала случайно.

Он потребовал документы. Она стала доставать из сумочки, но он сам взял сумочку, пересмотрел ее всю. Там были деньги, трудовая книжка, профсоюзный билет, где национальность не указывается. Фамилия «Проничева» полицая убеждала. Сумочку он не вернул, но указал на бугорок, где сидела кучка людей:

– Сидай отут. Жидив перестреляем – тоди выпустым.

Дина подошла к бугорку и села. Все тут молчали, ошалелые. *Она боялась поднять лицо: а вдруг кто-нибудь ее здесь узнает, случайно совершенно, и закричит: «Она – жидовка!» Чтобы спастись, эти люди ни перед чем не остановятся. Поэтому она старалась ни на кого не смотреть, и на нее не смотрели.* Только сидевшая рядом бабушка в пушистом вязаном платке тихо пожаловалась Дине, что провожала невестку и вот попала… *А сама она украинка, никакая не еврейка, и кто бы мог подумать, что выйдет такое с этим провожанием.*

Здесь все были провожающие.

Так они сидели, и прямо перед ними, как на сцене, происходил этот кошмар: из коридора партия за партией вываливались визжащие, избитые люди, их принимали полицаи, лупили, раздевали – и так без конца.

Дина уверяет, что некоторые истерически хохотали, что она своими глазами видела, как несколько человек за то время, что раздевались и шли на расстрел, на глазах становились седыми.

Голых людей строили небольшими цепочками и вели в прорезь, наспех прокопанную в обрывистой песчаной стене. Что за ней – не было видно, но оттуда неслась стрельба, и возвращались оттуда только немцы и полицаи, за новыми цепочками.

Матери особенно копошились над детьми, поэтому время от времени какой-нибудь немец или полицай, рассердясь, выхватывал у матери ребенка, подходил к песчаной стене и, размахнувшись, швырял его через гребень, как полено.

Дину словно обручами схватило, она долго-долго сидела, втянув голову в плечи, боясь взглянуть на соседей, потому что их все прибывало. Она уже не воспринимала ни криков, ни стрельбы.

Стало темнеть.

Вдруг подъехала открытая машина, и в ней – высокий, стройный, очень элегантный офицер со стеком в руке. Было похоже, что он здесь главный. Рядом с ним был русский переводчик.

– Кто такие? – спросил офицер через переводчика у полицая, указывая на бугорок, где сидело уже человек пятьдесят.

– Цэ наши люды, – ответил полицай. – Нэ зналы, треба их выпустыть.

Офицер как закричит:

– Немедленно расстрелять! Если хоть один отсюда выйдет и расскажет по городу, завтра ни один жид не придет.

Переводчик добросовестно перевел это полицаю, а люди на бугорке сидели и слушали.

– А ну, пишлы! Ходимо! Поднимайсь! – закричали полицаи.

Люди, как пьяные, поднялись. Время было уже позднее, может, потому эту партию не стали раздевать, а так и повели одетыми в прорезь.

Дина шла примерно во втором десятке. Миновали коридор прокопа, и открылся песчаный карьер с почти отвесными стенами. Было уже полутемно. Дина плохо разглядела этот карьер. Всех гуськом, быстро, торопя, послали влево – по очень узкому выступу.

Слева была стена, справа яма, а выступ, очевидно, был вырезан специально для расстрела, и был он такой узкий, что, идя по нему, люди инстинктивно жались к песчаной стенке, чтобы не свалиться.

Дина глянула вниз, и у нее закружилась голова-так ей показалось высоко. Внизу было море окровавленных тел. На противоположной стороне карьера она успела разглядеть установленные ручные пулеметы, и там было несколько немецких солдат. Они жгли костер, на котором варили, похоже, кофе.

Когда всю цепочку загнали на выступ, один из немцев отделился от костра, взялся за пулемет и начал стрелять.

Дина не столько увидела, сколько почувствовала, как с выступа повалились тела и как трасса пуль приближается к ней. У нее мелькнуло: «Сейчас я… Сейчас!» Не дожидаясь, она бросилась вниз, сжав кулаки.

Ей показалось, что она летела целую вечность, вероятно, было действительно высоко. При падении она не почувствовала ни удара, ни боли. Сначала ее обдало теплой кровью, и по лицу потекла кровь, так, словно она упала в ванну с кровью. Она лежала, раскинув руки, закрыв глаза.

Слышала какие-то утробные звуки, стоны, икоту, плач вокруг и из-под себя: было много недобитых. Вся эта масса тел чуть заметно пошевеливалась, оседая, уплотняясь от движения заваленных живых.

Солдаты вошли на выступ и стали присвечивать вниз фонариками, постреливая из пистолетов в тех, кто казался им живым. Но недалеко от Дины кто-то по-прежнему сильно стонал.

Она услышала, как ходят рядом, уже по трупам. Это немцы спустились, нагибались, что-то снимали с убитых, время от времени стреляя в шевелящихся.

Тут же ходил и полицай, который смотрел ее документы и забрал сумочку: она узнала его по голосу.

Один эсэсовец наткнулся на Дину, и она показалась ему подозрительной. Он посветил фонариком, приподнял ее и стал бить. Но она висела мешком и не подавала признаков жизни. Он ткнул ее сапогом в грудь, наступил на правую руку так, что рука хрустнула, но не выстрелил и пошел, балансируя, по трупам дальше.

Через несколько минут она услышала голос наверху:

– *Демиденко!* Давай прикидай!

Зазвякали лопаты, послышались глухие удары песка о тела, все ближе, и наконец груды песка стали падать на Дину.

Ее заваливало, но она не шевелилась, пока не засыпало рот. Она лежала лицом вверх, вдохнула в себя песок, подавилась и тут, почти ничего не соображая, забарахталась в диком ужасе, готовая уж лучше быть расстрелянной, чем заживо закопанной.

Левой, здоровой рукой она стала сгребать с себя песок, захлебывалась, вот-вот могла закашляться и из последних сил давила в себе этот кашель. Ей стало легче. Наконец она выбралась из-под земли.

Они там наверху, *эти украинские полицаи, видимо, устали, после тяжкого дня, копали, лениво* и только слегка присыпали, побросали лопаты и ушли. Глаза Дины были полны песку. Кромешная тьма, *тяжелый мясной дух от массы свежих трупов.*

Дина определила ближайшую песчаную стену, долго, долго, осторожно подбиралась к ней, потом встала и принялась левой рукой делать ямки. Так прижимаясь к этой стене, она делала ямки, поднимаясь пядь за пядью, каждую секунду рискуя сорваться.

Наверху оказался куст, она его нащупала, отчаянно уцепилась и, когда переваливалась через край, услышала тихий голос, от которого чуть не кинулась обратно:

– Тетя! Не бойтесь, я тоже живой.

Это был мальчик, в майке и трусиках, он вылез, как и она. Мальчик дрожал.

– Молчи! – шикнула она на него. – Ползи за мной.

И они поползли куда-то, молча, без звука.

Они ползли чрезвычайно долго, медленно, натыкаясь на обрывы, сворачивая, и ползли, очевидно, всю ночь, потому что начало светать. Тогда они нашли кусты и залезли в них.

Они были на краю большого оврага. Недалеко увидели немцев, которые пришли и стали сортировать вещи, складывать их. У них там вертелись и собаки на поводках. Иногда приезжали грузовики за вещами, но чаще – просто конные площадки.

Когда рассвело, они увидели бежавшую старуху, за ней мальчика лет шести, который кричал: «Бабушка, я боюсь!» Но старуха от него отмахивалась. Их догнали два немецких солдата и застрелили: сначала старуху, потом малыша.

Потом по противоположной стороне оврага человек семь немцев привели двух молодых женщин. Они спустились пониже в овраг, выбрали ровное место и стали по очереди насиловать этих женщин. Удовлетворившись, закололи женщин кинжалами, так что те и не вскрикивали, – а трупы так оставили, голые, с раскинутыми ногами.

Немцы постоянно проходили то внизу, то поверху, разговаривали. Все время стояла стрельба где-то тут, рядом. Столько стрельбы, что Дине стало казаться, будто она всегда была, и вообще не прекращалась, что она и ночью была.

Они с мальчиком лежали, забывались, просыпались. Мальчик сказал, что его зовут Мотя, что у него никого не осталось, что он упал вместе с отцом, когда стреляли. *Он был хорошенький, с красивыми глазами, которые смотрели на Дину, как на спасительницу*. Она подумала, что, если удастся спастись, она усыновит его.

К вечеру у нее начались галлюцинации: пришли к ней отец, мать, сестра. Они были в длинных белых халатах, все смеялись и кувыркались. Когда Дина очнулась, над ней сидел Мотя и жалобно говорил:

– Тетя, не умирайте, не оставляйте меня.

Она с большим трудом сообразила, где находится. Поскольку стало опять темно, они выбрались из кустов и поползли дальше. Днем Дина наметила путь: по большому лугу к роще, видневшейся вдали. Иногда она забывалась, приподнималась, тогда Мотя цеплялся за нее, прижимал к земле.

Кажется, она теряла сознание, потому что однажды свалилась в овраг. Они не ели и не пили больше суток, но об этом мысль не приходила. Это был какой-то шок.

Так они ползли еще ночь, пока не стало светать. Впереди были кусты, в которых они решили спрятаться, и Мотя полез разведать. Они так делали много раз, и если там все благополучно, Мотя должен был шевельнуть кустом. Но он пронзительно закричал:

– Тетя, не ползите, тут немцы!

И раздались выстрелы. Его так на месте и убили. На ее счастье, немцы не поняли, что кричал Мотя. Она отползла назад, очутилась среди какого-то песка. Она сделала ямку, потом аккуратно засыпала ее холмиком, воображая, что хоронит Мотю, своего спутника, – и поплакала. Она была уже как помешанная.

Светало, и Дина обнаружила, что сидит, покачиваясь, прямо на дороге, что слева заборы, проулок, мусорная свалка.

Она бросилась ползком на свалку, зарылась в мусор, набросала на себя всяких тряпок, коробок, надела на голову драную корзину – «верейку», чтобы под ней дышать.

Лежала так, затаившись. Однажды прошли мимо немцы, остановились, закурили.

Прямо перед собой, на краю огорода, она увидела два зеленых помидора. Чтобы достать их, надо было подползти. Вот только тут ей захотелось пить, и начались муки.

Она старалась думать о чем угодно, закрывала глаза, убеждала себя, приказывала не думать, а ее, как магнитом, поворачивало в сторону помидоров. Она не вылезла и пролежала дотемна.

Лишь в сплошной темноте выбралась, нащупала помидоры, съела и опять поползла на животе. Она уже столько наползалась, что, кажется, разучилась ходить на ногах.

Ползла долго, провалилась в окоп с колючей проволокой, забывалась. Под утро увидела хату, за ней сарай и решила забраться в этот сарай. Он не был заперт, но едва она влезла, во дворе тявкнула собака. Залаяли соседние собаки. Ей показалось, что лаяли сотни собак – так не нужен был ей этот шум.

Вышла сонная хозяйка, закричала:

– Тихо, Рябко!

Она заглянула в сарай и увидела Дину. Вид у хозяйки был хмурый, и когда она стала расспрашивать, кто такая Дина да почему здесь. Дина вдруг стала врать, что идет с рытья окопов, издалека, заблудилась, решила в сарае переночевать. Спросила дорогу к коменданту города.

– А дэ ж ты була?

– У Билий Церкви.

– У Билий Церкви? *И оцэ тут – дорога з Билои Церквы?* Ну, ну…

Вид у Дины был, конечно, аховый: вся в засохшей крови, в грязи и песке, туфли потеряла еще в карьере, чулки изорвались.

На шум вышли соседки, понемногу окружили Дину, разглядывали. *Хозяйка позвала сына, мальчика лет шестнадцати.*

– Ваньке, иды приводы нимця, мы ий, зараз покажем дорогу.

Дина стояла и понимала, что она не может побежать – сил нет, и потом эти бабы закричат, спустят собак. Хозяйку они называли Лизаветой.

Немцы, видимо, были близко, потому что Ванько почти сразу привел офицера.

– Ось, пан, юда!

Офицер оглядел Дину, кивнул:

– Ком.

И пошел по тропинке вперед. Дина за ним. Он ничего не говорил, только поглядывал, идет ли она. Она сложила руки на груди, сжалась, ей стало холодно, болела правая рука – она была в крови, болели ноги – они были разбиты.

Вошли в одноэтажный кирпичный дом, где десятка два солдат завтракали, пили кофе из алюминиевых кружек. Дина хотела сесть в углу на стул, но офицер закричал – тогда она села на пол.

Вскоре немцы стали брать винтовки и расходиться. Остался лишь один солдат – дневальный. Он ходил, убирал, показал Дине на стул: садись, мол, ничего.

Она пересела на стул. Солдат посмотрел в окно и подал Дине тряпку, показывая, чтобы она протерла стекла. Окно было большое, чуть не во всю стену, в частых переплетах, как на веранде. И тут сквозь окно Дина увидела, что ползала она вокруг да около Яра и попала опять в то же место, откуда бежала.

Солдат стал тихо говорить. Дина его понимала, но он думал, что она не понимает, и изо всех сил старался втолковать:

– Ты пойми хоть немножко. Начальство ушло. Я даю тебе тряпку, чтобы ты удрала. Ты вытирай окно и смотри в окно, куда удрать. Да пойми же, думм-копф, дурная голова!

Он говорил сочувственно. Дина подумала, что это не похоже на провокацию. Но тогда она была в таком состоянии, что не верила уже ничему. На всякий случай вертела головой с непонимающим видом.

Солдат с досадой сунул ей веник и послал подметать соседний домик, где вообще не было никого. Дина заметалась, готовая бежать, но послышался шум и плач.

Явились офицер с *Ваньком, сыном Лизаветы*, ведя двух девушек лет по пятнадцати-шестнадцати.

Девчонки кричали, рыдали, бросались на землю и пытались целовать сапоги офицера, умоляли заставить делать их все, что угодно, спать с ними, только не расстреливать.

Они были в одинаковых чистеньких темных платьях, с косичками.

– Мы из детдома! – кричали они. – Мы не знаем, кто мы по национальности. Нас принесли грудными!

Офицер смотрел, как они валяются, и отодвигал ноги. Велел им и Дине следовать за ним.

Вышли на ту площадь, где раздевали. Здесь по-прежнему валялись кучи одежды, туфель. За вещами, в сторонке, сидели тридцать или сорок стариков, старух и больных. Верно, это были остатки, выловленные по квартирам.

Одна старуха лежала парализованная, завернутая в одеяло.

Дину и девочек посадили к ним. Девочки тихо плакали.

Они сидели под каким-то уступом, а по уступу прохаживался туда-сюда часовой с автоматом. Дина исподлобья следила за ним, как он то удаляется, то приближается. Он заметил это, стал нервничать и вдруг закричал яростно, по-немецки:

– Что ты следишь? Не смотри на меня! Я ни-че-го не могу тебе сделать. У меня тоже дети есть!

К ней подсела девушка в гимнастерке и шинели – увидела, что Дина дрожит от холода, и прикрыла ее шинелью. Они тихо разговорились. Девушку звали Любой, ей было девятнадцать лет, она служила медсестрой и попала в окружение.

Подъехал грузовик с советскими военнопленными, у всех были лопаты. Старики в ужасе заволновались: неужели будут закапывать живьем? Но один из пленных посмотрел издали, сказал:

– Вам повезло.

Всех стали поднимать и загонять в кузов этого же грузовика. Двое солдат подняли старуху в одеяле и, как бревно, сунули в кузов, там ее подхватили на руки.

Кузов был открытый, с высокими бортами. Один немец сел в кабину, другой в кузов, и четверо полицаев поместились по бортам.

Куда – то повезли.

Трудно было усмотреть в этом какую-то знаменитую немецкую логику или последовательность: одних раздевали, других нет, одних добивали, *других оставляли медленно умирать,* тех везли сюда, этих отсюда…

Грузовик приехал на улицу Мельникова, где было большое автохозяйство. На просторный двор выходило много ворот гаражей и мастерских. Открыли одни ворота – оказалось, что там набито людей как селедок, они кричали, задыхались – так и вывалились из ворот. *Среди прочих вывалилась старушка и сразу же стала мочиться под дверью. Немец закричал и выстрелил ей в голову из пистолета.*

Парализованную старуху в одеяле вынули из кузова и сунули в гараж прямо по головам. С трудом, под крики и визг, немцы поднатужились и закрыли эти ворота, *вкатив туда же и труп убитой,* и стали озабоченно говорить между собой, что нет мест.

Это сюда загнали на ночь толпу с улицы, и именно здесь люди сидели по нескольку суток, ожидая очереди на расстрел.

Дина понимала немецкую речь, слушала и соображала: что же дальше?

Машина стала задним ходом сдавать из двора. Немец из кузова спрыгнул, остались четыре полицая: двое у кабины, двое у бортов, но они сели не у самого заднего борта, а ближе к середине. Они выглядели усталыми, но не злыми.

Дина и Люба стали сговариваться: надо прыгать.

Будут стрелять – пусть. По крайней мере будет быстрая смерть, а не ждать очереди.

Поехали быстро. Люба прикрыла Дину от ветра шинелью. Петляли по улицам. Оказались на Шулявке, двигались куда-то к Брест-Литовскому шоссе.

Покрытая шинелью. Дина перевалилась через задний борт и прыгнула на большом ходу. Она упала, разбилась в кровь о мостовую, но с машины ее не заметили. А может, не захотели заметить?

Ее окружили прохожие. Она стала бормотать, что вот ехала, надо было сойти у базара, а шофер не понял, она решила спрыгнуть… Ей и верили и не верили, но вокруг она видела человеческие глаза. Ее быстро увели во двор.

Еще через полчаса она была у жены своего брата, польки по национальности. Всю ночь грели воду и отмачивали на ее теле сорочку, влипшую в раны.

* * *

Д. М. Проничева потом много раз еще была на краю гибели, скрывалась в развалинах, в Дарнице, затем по селам под именем Нади Савченко. Ее детей спасли люди, она долго разыскивала их и нашла в самом конце войны. В 1946 г. она была свидетелем обвинения на Киевском процессе о фашистских злодеяниях на Украине. [Но из-за последовавшего вскоре разгула антисемитизма она стала скрывать, что спаслась из Бабьего Яра, скрывала опять, что она – еврейка, опять ее выручала фамилия «Проничева».]

Она вернулась в Киевский театр кукол, где работает и поныне актрисой-кукловодом. [Мне стоило огромного труда, убедить ее рассказать, как ей, единственной из расстрелянных в сентябре 1941 г. 70.000 евреев, удалось спастись, она не верила, что это может быть опубликовано и что это кому-нибудь нужно. Ее рассказ длился несколько дней и перемежался сердечными приступами. Это было в том же доме на улице Воровского, откуда она уходила в Бабий Яр, в старой разрушающейся комнате.

Только в 1968 г. Д. М. Проничевой удалось выхлопотать маленькую квартиру в новом доме, и она прислала мне письмо, где писала, что после выхода этой книги к ней приходил один киевлянин, сказавший, что он тоже спасся из Яра. Он тогда был совсем ребенком и вылез, как и Мотя, его скрывала украинская семья, он принял их фамилию, в паспорте у него стоит «украинец», и он никогда никому не рассказывал, что он из Бабьего Яра. Судя по деталям, которые он помнит, рассказ его правдив. Но он просто так посидел, повспоминал – и ушел, не назвав себя.]

Глава воспоминаний

1. Людоеды

Самый большой за всю историю Украины, голод был при советской власти в 1933 году. Это первое осмысленное воспоминание моей жизни.

Бабка месила в деревянном корыте мамалыгу, я вертелся рядом: не перепадет ли кусочек. А отец, осунувшийся и усталый, сидел на табуретке и рассказывал.

Он только что вернулся из-под Умани, где проводил коллективизацию. Раньше, бывало, приезжая, он привозил муку, горшочки с медом, потом перестал; и на этот раз не привез ничего.

– Ну, загнали мы крестьян в колхозы револьверами, – говорил отец. – А они работать не хотят. Опустили руки и ничего не делают. Скот передох, поля остались незасеянными, заросли бурьянами. Говорить с людьми, столковаться – нет никакой возможности. Замкнутые, тупые, молчат, словно не люди. Сгоним на собрание – молчат, велим разойтись – расходятся. В общем, нашла коса на камень. Мы им: колхозы или смерть. Они на это: лучше смерть. Говорят: Ленин пообещал нам землю, за это революция была. И вот это одно задолбили, и стоят на том. Какая-то немыслимая, полоумная крестьянская забастовка, жрать больше нечего…

– Господи, – охала бабка, – так что ж ты там ел?

– Нам, коммунистам, выдавали по талонам, чтоб не сдохли, немножко деревенским активистам тоже, а вот что ОНИ жрут – это уму непостижимо. Лягушек, мышей уже нет, кошки ни одной не осталось, траву, солому секут, кору сосновую обдирают, растирают в пыль и пекут из нее лепешки. Людоедство на каждом шагу.

– Людоедство! Господи! Как же это?

– Очень просто. Скажем, сидим мы, в сельсовете, вдруг бежит деревенский активист, доносит: в такой-то хате девку едят. Собираемся, берем оружие, идем в эту хату. Семья вся дома в сборе, только дочки нет. Сонные сидят, сытые. В хате вкусно пахнет вареным. Печка жарко натоплена, горшки в ней стоят.

Начинаю допрашивать:

– Где ваша дочка?

– У город поихала…

– Зачем поехала?

– Краму(Ткани – Укр.) на платье купить.

– А в печи в горшках что?

– Та кулиш…

Выворачиваю этот «кулиш» в миску – мясо, мясо, рука с ногтями плавает в жире.

– Собирайтесь, пошли.

Послушно собираются, как сонные мухи, совсем уже невменяемые. Идут. Что с ними делать дальше? Теоретически – надо судить. Но в советских законах такой статьи – о людоедстве – нет! Можно – за убийство, так это ж сколько возни судам, и потом голод – это смягчающее обстоятельство, или нет? В общем, нам инструкцию спустили: решать на местах. Выведем их из села, свернем куда-нибудь в поле, в балочку, пошлепали из пистолета в затылок, землей слегка присыпали. – потом волки съедят. [Голод был вызван искусственно, по приказу Сталина. У сопротивлявшихся коллективизации крестьян были реквизированы все запасы. Вымирали многие села до последнего человека. На железнодорожных станциях, по городам лежали тысячи опухших и умиравших крестьян, бежавших из сел в

поисках хлеба. Исходя из цифр переписей, показаний свидетелей и других данных, исследователи находят, что число погибших превышало 7 миллионов человек. Сталин в беседе с Черчиллем обронил фразу, что ему тогда понадобилось ликвидировать сопротивление 10 миллионов противников: «Десять миллионов, – сказал он, подняв руки. – Это было страшно. Это длилось четыре года». (Уинстон Черчилль. Вторая мировая война. Лондон, 1951. Том 4, книга 2, стр. 447.)]

2. Кто принес елочку?

Мое детство окружала ложь.

Я пошел учиться в первый класс школы в историческом 1937 году (тогда начинали учиться с восьми лет). Здание было древнее, ветхое, в классах было по пятьдесят учеников, занятия шли в три смены.

Мы распевали песенку про козла и учили букву «О». Мама научила меня грамоте с четырех лет. В классе мне было скучно, потому что я читал, как пулемет, уже прочел главные романы Гюго и «Размножение» Золя, где меня особенно потрясло то, что хирургическое предупреждение беременности приводит женщину к преждевременной старости. Там осуждается женщина, которая не хотела беременеть, а только свободно спать с мужчинами и веселиться, и врач ей что-то вырезал, и через несколько лет она стала старухой. Я очень жалел эту женщину, но слащавая картина чудовищного многодетного семейства, которую Золя нарисовал как образец, мне почему-то показалась еще более противной. Я про себя решил, что когда вырасту, ни за что не женюсь на матроне, плодовитой, как жирная самка тутового шелкопряда, а буду гулять, спать и веселиться.

На праздник 20-й годовщины революции мы переселились в новую школу. Она встала на нашей Куреневке среди кособоких домишек и купеческих особняков, как Гулливер среди лилипутов – с огромными окнами, колоннами, широкими лестницами, истинный символ нового, живой пример заботы партии и лично товарища Сталина.

Нам, маленьким клопикам, постоянно говорили это на уроках. Мы переселились в новую школу со знаменами, барабанным боем и песнями о любимом Сталине. Нас возили в грузовиках на демонстрацию, где мы восторженно визжали «ура!»

В школьном зале по субботам бесплатно показывали кино. Мы, первоклассники, занимали лучшие места на полу под экраном и смотрели, задрав головы, разинув рты.

Никто не знал заранее, какое будет кино, потому что коробки с кинолентами привозили в самый последний момент. Из-за этого случались неувязки. Так, одной из первых показали картину, сюжет которой был такой.

Молодой рабочий-ударник, комсомолец женится на отсталой мещанской девице. Входит в мещанскую семью. Бурные сцены борьбы коммунистической и мещанской идеологий. Молодой муж уходит из дому и ночует у приятеля. В это время престарелый отец героини утирает ей слезы, а затем спит с ней, в результате чего рождается ребенок. Молодой муж узнает об этом у станка, выполняя очередную ударную норму. Он ломает голову: от кого ребенок? Из-за этого он делает брак и не выполняет норму. Название и конец фильма не остались у меня в памяти, но на всех нас, сидевших в первых рядах на полу, он произвел глубокое впечатление.

Напротив школы открылась детская агротехническая станция, и разные тети приходили записывать в юннаты, чтобы по методу академика Лысенко выращивать невиданные урожаи. Мы с Жориком Гороховским немедленно записались, нам дали участок земли и пакет с арахисом. К сожалению, мы его попробовали и уже не могли остановиться, пока не съели весь. Посмотрели друг на друга и, ни слова не говоря, удрали навсегда, пожертвовав карьерой последователей Лысенко.

В старом особняке открылась детская техническая станция – ДТС – с кружками фотографии, радио, авиамоделизма, и мы записались в фотокружок. Первой работой, которую нам поручил руководитель, была фотография бюста Сталина.

На нашей кривой и противной улице асфальтировались тротуары, по тем временам это было истинное чудо.

В газетах сообщалось, что по предложению выдающегося сталинского соратника Постышева вводится новый праздник – Новый год с елкой. До той поры с самой революции елки не было, и для нас, детишек, это было открытие. В новой школе установили елку, девочки изображали снежинок, я декламировал стихи про Мороза, который дозором обходит владенья свои. И в заключение мы пели песню, которая была напечатана в газете и кончалась словами:

«И эту чудо-елочку нам Постышев принес.»

Бабка сказала:

– Это Рождество. Елку Иисус Христос принес. Я возражал:

– Нет, Постышев. Никакого Иисуса Христа нету и не было! Это советская власть дала детям елку.

– Ты – щеня, – сказала бабка, и мы жестоко поссорились. Мама сказала:

– Вот, Толя, какой ты везучий. Только пошел учиться – построили тебе новую школу, открыли агростанцию и ДТС, ввели елку, даже асфальт вам проложили, – только учитесь. Ты пользуйся этим и учись, но только читай побольше, читай и читай, в книгах – мудрость.

Однако очень скоро выяснилось, что в книгах не все мудрость. Как-то на уроке нам велели раскрыть учебники на странице с портретом Постышева и эту страницу вырвать: Постышев оказался врагом народа.

И его расстреляли, хоть он и елочку принес. Для наших детских мозгов это было потрясением, но нам и сообразить не дали, сразу сделали это системой, чем-то обыкновенным и привычным. То велели вырывать новые страницы, то – густо замазывать чернилами какие-то строчки и имена. Портить учебники – это было даже весело, это всем ужасно понравилось.

Однажды, во время урока вдруг распахнулась дверь класса, вошли взволнованные директор, завуч и парторг, скомандовали:

– Тетради – на парты!

На обложках тетрадей для красоты был напечатан букет цветов. Все тетради с букетом немедленно отобрали и отнесли в кочегарку, где сожгли в топке. Школьный телефон надрывался от звонков из гороно: все ли тетради изъяты? Оказалось, что среди цветов обнаружена замаскированная царская корона. Как в загадочной картинке: «Где охотник?» – листики, штрихи, завитушки, а если перевернуть вверх ногами да некоторые линии обвести карандашом, то в аляповатом букете при желании можно было обнаружить корону. А можно и лошадку… И говорили, что много людей было арестовано за эту проклятую тетрадку, и исчезли они неизвестно куда.

3. Горели книги

– А ну, – сказала мама, – разорви эту книгу, клади в печку и разжигай.

Книг у нас было много, мама собирала их и постоянно покупала новые. И вот она стала пересматривать их, стопу за стопой – и отправлять в печь. Книги горят долго и упрямо, их надо ворошить кочергой. Была теплая погода, и вскоре от раскаленной печки стало жарко, пришлось открыть окна – и все равно душно.

Довольно много из наших книг я уже прочел, подобно этому самому «Размножению» Золя, но еще больше не успел. Особенно жаль было великолепно иллюстрированных, пере-

плетенных годовых комплектов «Иностранной литературы» с 1890 по 1910 год, напечатанную при царе «Русскую историю в картинах», не говоря уж о книгах Горького.

– Это вредительские книги, – объяснила мать. Понятно. Если в школе тетради жгут, то вредительские книги надо и подавно – в печь. Горький не так давно умер, но вокруг все шепотом говорили, что его отравили. Сперва сына его убили, а потом и самого «залечили» в Кремлевской больнице. А раз такое дело, лучше его книг не держать.

Но я буквально завизжал, когда к сожжению были приговорены, японские сказки:

– Не надо, мама, не надо!

Это была самая любимая книга моего детства, по ней я выучился читать. В ней рассказывалось о занятных и поучительных историях, происходивших с мальчиком Таро и девочкой Такэй, а на картинках были прудики с золотыми рыбками и японские домики среди карликовых сосенок. Я вцепился в книгу, а мать стала вырывать, и она была сильнее, и мои Таро и Такэй полетели в огонь. Обложка была плотная, лакированная и долго не хотела гореть. Лежит великолепная детская книга среди огня – и не горит.

– Японцы – капиталисты и наши враги, – сказала мать. – Нельзя держать в доме японские книги.

Чтобы я не разревелся, она дала мне ножницы и велела кромсать семейные фотографии. Ставила крест на лицах, которые надо вырезать, это были враги народа, и я их аккуратно вырезал. Что-то у нас оказалось подозрительно много знакомых врагов народа.

После моей обработки фотографии выглядели презабавно. Вот, например, большая групповая фотография, ряды проглотивших аршин мужчин и женщин, надпись: «Учительская конференция 1935 года». А в этих рядах теперь, после моих ножниц, – пустые дырки в форме человеческих силуэтов, словно не люди были, а привидения. Все они оказались врагами народа, теперь их уж нет, их надо забыть.

И начались ночи.

По ночам мама почти не спала. Ходила из угла в угол, прислушивалась к каждому звуку. Если на улице гудел мотор автомобиля, она вскидывалась, бледнела и металась. Но это были просто проезжающие мимо автомобили.

Приходя с работы, рассказывала, что очень трудно: не пришел такой-то учитель, и такой-то учитель, и она одновременно работала с двумя классами, и каждый день происходят слияния классов, перестановки, потому что учителей все арестовывают и арестовывают… Она ждет своей очереди.

Бабка плакала и причитала:

– Ой, ты ж ничего не зробыла, Маруся. Тебя ж нэма за що арестуватъ!

– А их за что?

– Ой, Маты Божа, за що ж така кара?

Приятель деда старик Жук был тихим и смирным дедушкой, регулярно подметал улицу, красил забор, бежал голосовать в шесть часов утра и всегда вывешивал красный флаг на 7 ноября и другие праздники. Однажды он стоял в очереди за ситцем.

Ткани тогда были большой ценностью. Их можно было купить, только простояв сутки в очереди. Очередь была жуткая, многотысячная, и выстраивалась она не у магазина, а так, чтобы, ее не видно было с Кирилловской улицы, где ездили правительственные машины и иностранные гости, – вдоль ограды сквера, как раз напротив наших ворот. Галдела она сильно, и люди в очереди завтракали, обедали, спали по ночам на земле.

Милиция наводила порядок, отсчитывала десятки и вела их в магазин. Забавно они шли: цепко ухватясъ за бока друг друга, в затылок, как дети играют в поезд – это чтобы одиннадцатый не примазался, – измученные, всклокоченные, но судорожно-счастливые, достоялись, наконец! При входе в магазин милиция их опять пересчитывала, так что всё было очень культурно, и порядок соблюдался образцовый, и их впускали в магазин, как в

храм. Что они там получат – никто не знал. Чего в данный момент привезли целую машину, то и «дают» по несколько метров на душу, и счастливцы выходили все с совершенно одинаковыми кусками.

Так вот Жук стоял в этой очереди, что-то сказал, а кто-то услышал, и может быть за это получил кусок ситца вне очереди. Ночью у дома Жука погудел мотор машины, и его увезли. После этого и у деда пропал сон. Он перебирал в памяти все свои высказывания против большевиков, прикидывая, кто же из друзей их вспомнит.

Бабка приготовила две корзинки с бельем, сухарями, положила по кусочку мыла и зубной щетке. Сама вскидывалась при гуле проезжающей машины. Мутные, жуткие ночи.

Мама снова перебрала все бумаги, листик за листиком, снова горела печь, и моя работа пропала: фотографии с дырками мать решила вообще не хранить, побросала в огонь. И остались у нас только самые распроверенные советские книги да еще шеститомное собрание сочинений Пушкина.

После людоедов это был второй ужас в моей жизни.

* * *

[Не могу здесь удержаться от комментария, как в те времена люди понимали события.

Едва был убит Киров, как сейчас же все заговорили, что Киров убит по приказу Сталина. То же самое об Орджоникидзе. О Горьком упрямо говорили, что он отравлен, так как не был согласен со Сталиным. Никто никогда не отделял Сталина от НКВД. В Киев Сталиным был послан Вышинский, занял под свою резиденцию Октябрьский дворец и принялся подписывать смертные приговоры сразу под огромными списками. Многих убивали тут же во дворце и сбрасывали трупы из окон в овраг. Всё это Киев прекрасно знал, и даже на что уж темная, глухая Куреневка, и та точно ориентировалась в событиях.

Поэтому, когда много лет спустя Хрущев занялся «разоблачениями» Сталина, в Советском Союзе это не составило новости. Новостью был лишь сам курс на «разоблачение» и нескончаемые ряды чудовищных подробностей.

И тут некие «честные коммунисты» стали бить себя в грудь и кричать, что они, оказывается, ничего не знали. Или, что знали, но верили, что уничтожаются подлинные враги. Или, что думали, будто во всем виновато НКВД, а любимый Сталин не знает, и партия – свята. Появилось много таких «честных коммунистов», отделяющих Сталина и партию от «ежовских» или «бериевских» преступлений.

Лицемеры. В душе все прекрасно всё знали и понимали. Лишь только тот, кто НЕ ХОТЕЛ ЗНАТЬ – «не знал». И лицемерил, и спасался лицемерием, и был стоек в своем лицемерии, и не без его помощи выжил, и оказался уже настолько органически лицемерием пропитан, что и сейчас лжет, доказывая, что миллионы членов партии были так умственно недоразвиты.

Так после разгрома Гитлера некоторые «честные фашисты» заявляли, что они не знали о чудовищных злодеяниях в лагерях смерти, или, что верили, будто во всем виновато лишь одно гестапо. Лицемеры. Еще раз повторяю: не знал лишь тот, кто не хотел знать.

Ибо, если на секунду поверить и допустить, что так называемые «честные коммунисты», взявшиеся диктовать миру условия жизни, видели, понимали и мыслили, как пятилетние дети, – то тогда еще страшнее.]

4. Пионерия

Придя в школу грамотеем, я учился шутя, получил четыре похвальные грамоты подряд, и меня выбрали председателем совета пионерского отряда.

Это было свирепое казенное идиотство для детей: мы заседали, совсем как взрослые, приучались говорить казенные фразы. Время от времени выстраивались, и звеньевые по-военному докладывали мне:

– Председателю совета отряда. В звене номер один по списку десять человек, на линейке присутствует девять человек. Один отсутствует по болезни. Рапортует звеньевой Жора Гороховский.

При этом я чувствовал себя дураком, Жорик чувствовал себя дураком, и все остальные стояли, как остолбенелые. Потом выносили знамя, потом уносили знамя, потом вожатый учил нас быть такими же юными ленинцами, как знаменитый пионер Павлик Морозов, который донес на своих собственных родителей, и его убили кулаки.

К счастью, наш вожатый Миша, симпатичный еврей, любил детей, и он еще таскал нас по музеям Лавры, водил всей оравой на Днепр купаться, мы ездили в Пущу-Водицу на военные игры, выступали на олимпиадах, все были в кружках.

Эта сторона жизни осталась для меня яркой, звонкой, солнечной. Перед нами действительно всё было открыто. В школы приезжали представители разных институтов и упрашивали, уговаривали старшеклассников идти к ним.

Мы с Жориком Гороховским, занимаясь в фотокружке, делали «пионерскую летопись», снимали отличников-активистов, а за фотомонтаж, посвященный Сталину, попали на выставку.

Она была устроена в фойе кинотеатра «Октябрь», и мы там дежурили у своего отдела, чтобы, не растащили экспонаты. Красота! Один дежурил, а другой бежал в зал и бесплатно смотрел кино.

Перед каждым фильмом непременно шел киножурнал-боевик «Пребывание В. М. Молотова в Берлине». Я насмотрелся его так, что знал наизусть каждый кадр.

Из него явствовало, что у Советского Союза нет большего друга, чем Гитлер. У советского народа есть Сталин, а затем – Гитлер. И вот Молотов едет в Германию, у нас с ней пакт о дружбе и ненападении. Его встречают в Берлине оркестрами, цветами и овациями. Изумительно маршируют гитлеровские войска. Захватывающая военная музыка. Гитлер по-братски радушно встречает Молотова, долго-долго трясет ему руку, они о чем-то увлеченно говорят, а вокруг толпа фотографов, вспышки. И опять сногсшибательно маршируют немецкие войска с развернутыми знаменами, на которых – такая мужественная, дружественная нам свастика.

И я начинал захлебываться от восторга, глядя на экран: хотелось вот так же лихо маршировать. Вот бы наш пионерский отряд научился так ходить, а наши военные игры походили бы на немецкие операции в Европе!.. Ах, как они лихо действовали, эти немцы. Советский Союз едва поспевал им неумело подражать.

Состоялась расчудесная война с Польшей. Гитлер с запада, мы с востока – и Польши нет. Конечно, для отвода глаз мы назвали это «освобождением Западной Украины и Белоруссии» и развесили плакаты, где какой-то оборванный хлоп обнимает мужественного красноармейца-освободителя. Но так принято. Тот, кто нападает, всегда – освободитель от чего-нибудь.

Папа Жорика Гороховского был мобилизован, ходил на эту войну и однажды по пьянке рассказал, как их там в самом деле встречали. Прежде всего, они там, от самого большого

командира до последнего ездового, накинулись на магазины с тканями, обувью и стали набивать мешки и чемоданы. Господи, чего только ни навезли наши бравые воины из Польши. Один политрук привез чемодан лакированных ботинок, но они вдруг стали расползаться после первых шагов. Оказалось, что он схватил декоративную обувь для покойников, сшитую на живую нитку. А Жоркин папа привез даже кучу велосипедных звонков. Мы носились с ними, звякали и веселились:

– Польше каюк!

Буржуйским Литве, Латвии, Эстонии был каюк. У Румынии взяли и отобрали Бессарабию. Хорошо быть сильным. И все же это не шло ни в какое сравнение с подвигами Гитлера.

Дед каждый день требовал, чтобы я читал ему в газетах про Гитлера. Немцы всюду только побеждали. Они бомбили, топили суда водоизмещением в тысячи брутто-тонн, шутя занимали страны и столицы. Неповоротливые растяпы-англичане доживали последние дни, Бельгии каюк, Франции каюк.

Когда дед отдыхал, я пристраивался к нему, и у нас начиналась увлекательная игра. Дед поднимал ладонь, планировал ею в воздухе, жужжал и с криком «бомбовозы!» пикировал на меня. Я хохотал.

5. Если завтра война

Под эту песню росло мое поколение. Предвоенные годы без нее просто невозможно представить:

Если завтра война, если завтра в поход,
Если темная сила нагрянет, —
Как один человек, весь советский народ
За любимую родину встанет.
На земле, в небесах и на море
Наш напев и могуч и суров:
Если завтра война, если завтра в поход, —
Будь сегодня к походу готов!

Это была песня из кинофильма, и народ призывался быть готовым к войне с каким-то абстрактным врагом, в общем, буржуем и чудовищем, которое лезло, а великолепный советский воин, под восторженно-животный гогот зала, давал ему прикладом «по кумполу».

Застрочит пулемет, полетит самолет, Загрохочут железные танки, И машины пойдут, и пехота пойдет, И помчатся лихие тачанки.

Тачанки, конные брички с пулеметом, эпохи гражданской войны, были непременным украшением всех парадов, пока не началась настоящая война.

На нашем кутке Петропавловской площади нас было три друга, три мушкетера, три танкиста. Особенно объединяло нас то, что всех нас бросили отцы, мы росли при матерях.

Болик Каминский был самым старшим, давал нам подзатыльники, мы дразнили его «Болямбатый» и при этом безмерно любили.

Это был тоненький, высокий мальчишка с неясным, как у девочки, лицом. Он смотрел только воинственные фильмы: «Чапаева» – двадцать пять раз, «Щорса» – двадцать, «Если завтра война» – семнадцать, «Богдана Хмельницкого» – десять раз.

Мы все бредили войной, но Болик был фанатиком войны. Он был такой воинственный, он мог часами говорить про войну. Даже игра в шахматы была у него войной: ладья – пушка, конь – тачанка, слон – пулемет, ферзь – пикирующий бомбардировщик. Можете себе представить, какой батальный шум мы издавали, когда играли в шахматы.

В сарае, на чердаке, у Болика было оборудовано пулеметное гнездо, как у Чапаева на колокольне. Мы высовывали в слуховое окно палки и строчили по этим самым абстрактным врагам, которые «если завтра война»: «Ы-ы-ы-ы!..»

Болик поступил в ФЗО – училище фабрично-заводского обучения – и запрезирал было нас, став рабочим классом, [хозяином страны, если верить Конституции.] Но тут началась подлинная война, его мобилизовали на строительство оборонительных сооружений – на окопы, как говорили тогда, и он исчез.

Шурка Крысан был моим одногодком – щупленький, юркий, предприимчивый, невероятно компанейский, за компанию готовый в огонь и воду. В уличных боевых операциях, которые регулярно шли между нашим кутком и соседними «кожевниками» (то воинственное племя жило у кожевенного завода,) Шурка проявлял чудеса героизма, но и получал больше всех.

Из всех фильмов самым любимым у него был именно «Если завтра война», ну, и соответственно песня.

Его называли «Шурка Маца», и я прилежно называл его так же, потому что надо человека как-то называть, но по своей наивности я тогда понятия не имел, что маца – это традиционное еврейское пасхальное кушанье. Я простодушно полагал, что Шурку так дразнят за то, что он быстро говорит, словно цокает: ца-ца-ца…

И если было что-то на свете, что тогда нас меньше всего интересовало, то это вопросы нашего происхождения и национальности. Мы все учились в украинской школе. Наш родной язык был украинский.

Только потом я разобрался, кто есть кто, и что мы гибриды: полуполяк, полуеврей и полуукраинец. У нас была подружка, соседская девочка Ляля, как потом выяснилось, полуфинка. Я ее очень любил, но она никак не хотела играть в войну. Девчонка, что с нее возьмешь.

Справедливости ради должен сказать, что и меня дразнили, хотя, правда, и очень редко, зато оскорбляли до глубины души. Меня в честь деда обзывали: «Семерик тру-ту-ту-триведра-молока».

6. Бей жида-политрука

В один прекрасный день мы с Шуркой Мацой пошли купаться. На лугу было озерцо, называвшееся Ковбанькой, что в переводе с куреневского наречия звучит как «Лягушатничек».

Уже шла война, по лугу ездили военные машины, бегали красноармейцы, стояли накрытые зелеными ветками зенитки и надувались аэростаты.

На нашей Ковбаньке загорали два красноармейца.

– А ну, шкеты, уходите, тут опасно, – сказали они.

Мы обиделись, набычились, но не ушли. Поплыли на другую сторону и обратно, форся и гордясь своим умением плавать. Плавали мы, как собаки. На обратном пути я устал. Хватал ртом воздух, бессильно молотил уставшими руками, в глазах стало зеленеть, и я увидел, как красноармеец на берегу с любопытством наблюдает мой марафон. Тут я нащупал ногой дно, пошатываясь вышел на берег, оглянулся – а Шурки нет.

Красноармеец, как был, в галифе и сапогах, кинулся в воду, только волны пошли, вынырнул, волоча позеленевшего Шурку, вынес его, как котенка, на берег, потряс, чтобы из пуза у Мацы вылилась вода.

– Вот *же* народ *вредительский*, – сказал он. – Теперь чешите домой, а то в милицию отведу.

Тут уж мы чесанули так, что камыши зашумели. Забились в ямку и стали делиться впечатлениями.

– Да, – сказал Шурка, – он мне помешал.

Я ведь нырнул и по дну к берегу шел.

Тут показались немецкие самолеты, штук тридцать. Зенитки так и взвились в небо. От первых выстрелов мы оглохли, и с каждым выстрелом нас почему-то било мордой о землю.

Прятаться на ровном лугу было решительно некуда. Мы прижались в своей ямке друг к другу, слыша, как рядом шлепаются не то осколки, не то пули: «Шпок, шпок, шпок!»

Лежа, как на ладони, под этим голубым небом, которое резали ревущие самолеты с черными крестами, я впервые физически ощутил свою уязвимость, беспомощность жиденького людского тела, в которое, как в сгусток киселя, достаточно попасть этому самому «шпок» – и…

И бомбардировщики прошли. Ни в них зенитчики не попали, ни они ни во что не попали. В воздухе замельтешили тысячи белых листков. Ветер явно не доносил их до города, они садились прямо к нам на луг. Мы кинулись ловить. На них на всех было напечатано большими буквами:

«БЕЙ ЖИДА-ПОЛИТРУКА ПРОСИТ МОРДА КИРПИЧА»

Без запятой. А дальше маленькими буквами объяснялось, что это – пароль для сдачи в плен. При виде немецкого солдата достаточно произнести эти слова четко и внятно.

«Красноармейцы! – призывала листовка. – Красная Армия разбита. Власть жидовско-большевистских комиссаров в России кончилась. Арестовывайте командиров, комиссаров, бросайте оружие и переходите в плен. Вас ожидают хорошие условия, и все вы пойдете по домам, чтобы мирно трудиться. Отправляясь в плен, имейте при себе смену чистого белья, мыло, котелок и ложку».

Эта листовка мне понравилась, особенно про котелок и ложку. Я почувствовал, как после купанья проголодался и представил себе, какую вкусную кашу варят немцы, – и накладывают в котелки доверху всем, кто перешел в плен.

Почувствовал что-то неладное и обернулся. Шурка сидел, держа листовку, бледный, с перепуганными глазами.

Толик, – сказал он. – А ведь я же – жид…

7. Второй Царицын?

Наши чемоданы много дней стояли упакованными. Эвакуируют людей только с организациями, а частным лицам уехать почти невозможно.

Бабкины племянники обещали взять с «Арсеналом», у них на платформах было место, даже между станками помещали свою мебель.

Дядя Петя приехал попрощаться, сообщил:

– Мы, – спецсостав, НКВД запретило брать посторонних.

Бабка заплакала, сунула ему горшочек смальца:

«Покушаешь у дорози», у калитки догнала, всучила подушечку-думочку: «На поезди голову приклонишь». От нее никто не уходил с пустыми руками.

А от отца все нет ответа на мамины телеграммы.

Мы с мамой подняли чемоданы, под бабкины причитания сели в трамвай и поехали на вокзал. Город был необычен: все окна заклеены крест-накрест полосками бумаги, витрины заложены мешками с песком, из таких же мешков поперек улиц нагромождены баррикады, оставлены только узкие проезды, для трамваев, обшитые досками. Повсюду плакаты: «Превратим Киев во второй Царицын».

Проехали остановку и стали: впереди покалечило парня. Трамваи проходили сквозь прорези в баррикадах тютелька в тютельку, а трамвай был полон, парень не смог втиснуться, его ударило о доски, закрутило и оторвало руку. Его понесли в поликлинику, и рука его болталась на лоскутке кожи, волочилась по земле.

Медленно-медленно трамвай дотащился до новой школы, на Петровке, два дня назад занятой под госпиталь. Из окон выглядывали забинтованные головы. Вдруг завыли сирены: тревога. Дежурные с красными повязками побежали вдоль трамваев:

– Выходите! В убежища!

Но мы, с матерью побежали вдоль пустых трамваев. Где-то стреляли, бомбили, но не над нами, и мы дошли до Нижнего Вала, чтобы сесть на трамвай № 13, идущий на вокзал. Оказалось, что трамваи на вокзал больше не ходят.

Снова завыли сирены. По всей улице бежали прохожие, растерянные дежурные МПВО не знали, куда посылать: никаких бомбоубежищ нет, одни ямки по дворам. «Если завтра война» только пели, а воевать собирались на чужой территории.

Мы с матерью перебегали от дома к дому, она просто ошалела, она кричала дежурным: «Вон наш дом, пропустите! – и так мы добежали до Андреевского спуска, а там дежурных не было, и по извилистой крутой улочке спешило вверх много людей, пользуясь тем, что она не перекрыта.

Я не понимал, зачем все эти перекрытия, если бомбоубежищ нет. Просто город бомбили, и в нем, как мыши, метались беззащитные люди.

Когда мы были у площади Богдана Хмельницкого, появились бомбардировщики. Мы кинулись в подъезд. Там на лестнице было полно людей. Выстрелы и взрывы гулко раздавались в лестничной клетке, сыпались куски штукатурки, плакали дети, жильцы выносили воду попить. Очень было страшно, что бомба попадет в дом, и он рухнет на головы.

Когда стало тише, мы, задыхаясь, побежали со своими чемоданами на Крещатик, откуда на вокзал ходили троллейбусы. Опять завыли сирены, нас затолкали вместе с потоком людей в тускло освещенный подвал, заваленный досками и бочками. Грохот доносился сюда, вздрагивал потолок весьма ненадежного вида. Старик сказал маме: «Тут уж если завалит, так навечно». Мать не выдержала, стала пробираться по лестнице наверх.

Из подъезда никого не выпускали, но дежурные сообщали: бомбят вокзал, никакой транспорт туда не ходит, там тысячи народу, горят составы. Октябрьская больница забита ранеными с вокзала.

В подъезде было много таких же, как мы, с чемоданами, и разнесся слух, что еще сажают на баржи, отправляющиеся вниз по Днепру. Поэтому, когда дали отбой, мы побежали обратно на Подол, но не добежали: тревога. Это был какой-то кошмар.

Нас загнали на нижнюю станцию фуникулера. И теперь это был налет именно на Подол: чудовищный грохот, летели стекла, где-то что-то горело, за Днепром падал сбитый самолет.

На узлах сидели бледные бабы, возле них стояла немолодая еврейка и говорила:

– Ну, хорошо, говорят, что евреям надо удирать, а зачем? Что, до войны вы слышали о немцах что-нибудь плохое? Теперь распускают какие-то слухи, почему мы должны верить слухам? Да если бы, мы и хотели удирать, скажите, как нам удирать? Что, у нас много денег? Нет у нас денег. А без денег ни в поезд не сядешь, ни пешком не уйдешь. Вот

с нашего двора пошли одни, вышли за Дарницу, потеряли вещи, наголодались, намучились – и вернулись на Подол. Теперь пишут, что немцы будто бы вешают нам желтую звезду и посылают на тяжелые работы. Ладно, мы будем работать. А что мы до сих пор кроме этого видели? Одно горе. Немцы должны это понять. Мы не графы, не буржуи какие-то, мы бедные люди, всю жизнь работаем, хуже не будет. Мы решили остаться.

Бабы печально кивали головами. Действительно, до войны, о Гитлере писали только хорошее, и никто не слышал, чтобы он плохо относился к евреям. Это пусть драпают партийцы, энкаведисты, директора, а людям бедным от чего бежать? И про желтую звезду, ясно, врут, и про какие-то издевательства немцев – всё врут газеты. Что ж раньше-то молчали? Изолгались до предела, вот что.

Мама послушала эти пересуды, вдруг испугалась, что немцы бросят бомбу на фуникулер, и мы через Почтовую площадь побежали к речному вокзалу. Перед ним было черно от людей с вещами. Милиционеры, кричали, свистели, оттесняя толпу. Охрипший человек в белом костюме и соломенной шляпе объявлял:

– Граждане, в первую очередь эвакуируются предприятия и организации. Идите по домам, не устраивайте скопления. Населению будет объявлено, все будут эвакуированы, как только схлынет поток предприятий. Расходитесь! Никого не посадим!

Растерянные, мы немного посидели в толпе, потом пошли прочь. Трамваи не шли. Говорили, что на Петровке разбомбили школу-госпиталь. Поразительно, как немцы узнали: ведь госпиталь там всего два дня…

По Нижнему Валу ехал грузовик, и красноармеец из кузова разбрасывал газету «Правда». Мне удалось ухватить одну. Сводка Совинформбюро сообщала, что на фронте существенных изменений не произошло. Это значило: плохи наши дела.

На Петровке стояло оцепление. Бомба попала не в госпиталь, а в одноэтажный домик рядом, от него остался лишь кусок стены, погибли все жильцы, их трупы сейчас откапывали. Но школу исковеркало, из окон вылетели и стекла, и рамы, и раненых эвакуировали, вынося и выводя к санитарным машинам.

8. Болик пришел

Все это время я горевал: будь я чуть старше, записался бы в добровольцы или, как Болик, хотя бы на строительство оборонительных сооружений, а там, глядишь, и остался бы их оборонять.

И вдруг по нашему кутку разнеслась новость: Болик пришел.

Я кинулся к нему. Мама его копошилась над ним, он ел картошку, давился, рассказывал:

– Рыли ров противотанковый, длинный, гадюка, через все поля. Народу тыщи, профессора всякие, девчонки. «Мессер» как налетит, как даст из пулеметов – смотрю, мой профессор лежит и стекол в очках нет… А я в сене прятался.

Потом появились немецкие танки, и все побежали кто куда. Болик шел через леса и поля, спасался от «мессеров» в болоте. Его трясло, когда он говорил о них, он ненавидел немцев так, что заикался:

– Летит прямо на тебя, нацелится, вот ты ему нужен лично, твоя смерть – и никаких, хоть кричи, хоть плачь, хоть падай… Ладно, братцы, по секрету: вот теперь мы достанем пулеметик, установим на чердаке и, когда они пойдут, эх, как чесанем: «Ы– ы-ы-ы-ы!»

Тетя Нина, его мать, плакала от радости, что он живой, отмыла, нарядила в чистый костюмчик, дала денег на кино, и мы с Боликом поехали на пару в кинотеатр на Крещатике смотреть кинокомедию «Праздник святого Иоргена». Обхохотались там до слез над проделками Игоря Ильинского, хотя за стенами слышались сирены, раздавались взрывы: сеанс во время налета не прекращали.

Вышли, купили мороженого, шатались по Крещатику, и было нам хорошо, и ничего-то мы не знали: *что уже принято решение сдавать Киев без боя,* что видим Крещатик в последний раз *и смотрели кинокомедию, сидя над минами,* что завтра Болика эвакуируют с остатками училища, и он опять исчезнет, даже не попрощавшись.

По Крещатику торжественно кричали громкоговорители: «Говорит Киев, говорит советский Киев! Родина, ты слышишь? Киев есть и будет советским!» Киеву отвечала Москва: «Вы вновь воскресили бессмертные традиции героики Великого Октября и гражданской войны. Вы не одиноки. С вами Красная Армия, с вами весь наш советский народ».

Слова, слова…

Домой мы шли против потока войск, *явно долго* отступавших. Красноармейцы были *смертельно* усталые, запыленные, так что корка на них трескалась. *На грабарке, запряженной волами, сидел бесшабашный парень в барашковой шапке и с каменным лицом играл на гармошке полечку.*

А на тротуар высыпали бабы, смотрели, скрестив руки, вздыхали, сморкались, плакали. У столба стоял дряхлый старичок с палочкой, плакал, говорил парню, игравшему полечку:

– Голубчики, возвращайтесь, возвращайтесь… Очень народ плакал, провожая отступающих своих мужчин.

Сквер перед нашим домом был забит сидевшими и лежавшими усталыми красноармейцами. Один возился с пулеметом «Максим», и мы подсели, стали внимательно смотреть. Он сказал:

– Сынки, я вам дам рубль, а вы принесли бы молока.

Мы помчались к моей бабке, она разохалась, не взяла рубля, вручила нам кувшин с молоком. Красноармейцы подставляли котелки, мы наливали, но это была капля в море.

Мой дед вез по улице хлеб.

В магазинах хлеба уже не продавали, а распределяли по спискам. Каждая семья сшила мешочек, написала чернильным карандашом свою фамилию, в магазине делили хлеб по мешочкам, а мой дед подрядился развозить тачкой. Нас распирала жажда деятельности, и мы кинулись толкать тачку, стучали в квартиры, опорожняли мешочки. С тачкой сложно было лавировать среди идущих войск.

– А что, хлопцы, дело табак? – сказал дед. – Киев сдают.

Мы возмутились:

– *Киев – второй Царицын.* Ого, дед, еще знаешь, какой бой будет!

– Какой там бой, – махнул дед рукой. – Вы посмотрите: куда им воевать?

Уставшие, измордованные лошаденки тянули военные фуры, орудия, *разваливающиеся* телеги. Красноармейцы были *оборванные,* заросшие, израненные. Некоторые, видно, до крови разбив ноги, шли босиком, перекинув ботинки через плечо. А *у других вовсе не было ни сапог, ни ботинок.* Шли без всякого строя, *как стадо,* сгибаясь под тяжестью мешков, скаток, оружия *и отнюдь не воинственно* звякая мятыми котелками.

– О несчастные расейские солдаты, – пробормотал дед, снимая шапку.

Глава подлинных документов

ПРИКАЗ

Жителям (всем лицам) запрещено выходить на улицу от 18 до 5 часов по немецкому времени.

Нарушители этого приказа могут быть расстреляны.

Комендант г. Киева[4].

Из объявления:

«Все мужчины в возрасте от 15 до 60 лет обязаны явиться в жилуправление своего района…»[5]

Заголовок подвальной статьи в газете:

«САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВРАГ НАРОДА – ЖИД»[6]

Въезд лиц, не проживающих в Киеве, строго воспрещен. Кто прибыл в Киев после 20 сентября, обязан немедленно выехать из города. Кто по уважительным причинам хочет остаться в городе, должен получить на это разрешение коменданта города. Это разрешение выдается в отделе пропусков, ул. Коминтерна, № 8.

Кто без разрешения будет пребывать в городе после 15/X-41 г., подлежит суровому наказанию.

Комендант города[7].

Из статьи «Задачи украинской интеллигенции»:

Наша задача – восстановить разрушенную жидо-большевиками украинскую национальную культуру[8].

Объявление коменданта:

В качестве репрессивных мер по случаю акта саботажа сегодня 100 жителей города Киева были расстреляны.

Это – предупреждение.

Каждый житель Киева является ответственным за каждый акт саботажа.

Киев, 22 октября 1941 г.

Комендант города[9].

ПРИКАЗ

---

[4] «Украинское слово», 29 сентября 1941 г.

[5] Там же, 30 сентября 1941 г.

[6] Там же, 2 октября 1941 г.

[7] Там же, 9 октября 1941 г.

[8] «Украинское слово», 10 октября 1941 г.

[9] Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні», збірник документів і матеріалів. Київ, 1963. Стр. 45.

Всех голубей в городе и пригородной зоне надо немедленно уничтожить.

Кто после 26 октября будет держать еще голубей, тот будет РАССТРЕЛЯН как саботажник.

Эбергард, комендант города[10].

Из номера в номер газета печатает, как призыв, в рамках:

Фюрер немецкого народа сказал:

«Миллионы немецких крестьян и рабочих наилучшим образом выполняют свои обязанности».

Украинцы, выполняйте и вы свою обязанность и старательно работайте![11]

Фюрер Адольф Гитлер сказал 3 октября 1941 г.:

«Мы ставим весь континент на служение нашей борьбе против большевизма». Украинец, твое место – рядом с Германией в борьбе за лучшую Европу![12]

Объявление коменданта:

Случаи поджога и саботажа, распространяющиеся в городе Киеве, заставляют меня принять решительные меры.

Поэтому сегодня расстреляно 300 жителей Киева. За каждый новый случай поджога или саботажа будет расстреливаться значительно большее число жителей Киева.

Каждый житель обязан обо всяком подозрительном случае немедленно сообщать в немецкую полицию.

Я буду любой ценой и всеми способами поддерживать порядок и спокойствие в Киеве. Киев, 2 ноября 1941 г.

Эбергард, генерал – майор и комендант города[13].

Все имеющиеся у штатского населения валяные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валяными сапогами запрещается и должно караться так же, как и недозволенное пользование оружием[14].

Объявление комиссара города:

Согласно договоренности со штадткомендантом, сообщается населению г. Киева, что штатские лица имеют право пребывать на улицах только с 5 час. до 17 час. 30 мин.

Комиссар города[15]

Объявление коменданта:

[10] Украинское слово», 25 октября 1941 г.

[11] Украинское слово», 22 октября 1941 г.

[12] Там же, 25 октября 1941 г.

[13] Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні», збірник документов і матеріалів. Київ, 1963. Стр. 46.

[14] «Київ – герой», зборник матеріалів про подвиг киян у Великій Вітчизняній війні. Київ, 1961. Стр. 234.

[15] Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні», збірник документов і матеріалів. Київ, 1963. Стр. 55.

В Киеве злонамеренно повреждены средства связи (телефон, телеграф, кабель). Потому, что вредителей далее нельзя было терпеть, В ГОРОДЕ БЫЛО РАССТРЕЛЯНО 400 МУЖЧИН, что должно явиться предостережением для населения.

Требую еще раз обо всех подозрительных случаях немедленно сообщать немецким войскам или немецкой полиции, чтобы преступники по заслуге были наказаны.

Киев 29/XI – 1941.

Эбергард, генерал – майор и комендант города.

По немецкому времени

Сто заложников, триста заложников, четыреста заложников… Это была уже война, объявленная целому городу.

[Взрыв Крещатика и последующие поджоги устроили оставленные агенты НКВД, расстреливали же за это первых попавшихся людей. Цель была достигнута: немцы рассвирепели. И тем более свирепели, что не могли схватить подлинных взрывников. Это как если бы они получили в зубы от профессионального боксера, а злобу вымещали на подвернувшемся под руку ребенке. За несколько дней расстреляв в Бабьем Яре всех евреев, принялись тащить туда русских, украинцев и прочих.]

Заложников брали по ночам, наугад оцепив любой квартал, именно столько, сколько указано в объявлениях. Однажды брали днем на Крещатике, прямо на тротуарах.

Крещатик дымился, но пешеходное движение по нему открылось. В самом начале Крещатика уцелел чудом небольшой квартал и здание Думы на площади Калинина, похожее на оперный театр. Вот это здание с запозданием взорвалось и запылало. Тогда немцы стали хватать всех, кто подвернулся под руку на Крещатике, посадили в машины и отправили в Бабий Яр.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.